

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



ГУБЕРНАТОР

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Иван Митрофанович Плотников дорожил своей фамилией. Она досталась ему от неизвестного плотника, что ставил срубы для церквей, домов и колодцев. В фамилии звучали плотность, крепость, надёжность, умение сплачивать, складывать воедино свои усилия и достижения. Так же катал венцы его предок, подбирая их один к одному, возводя звонкую смоляную избу. Плотогон вязал плоты, соединяя в крепкие связки танцующие на воде брёвна, сплавлял их по рекам.

Среди государственных нестроений и хозяйственных неурядиц, изнурявших страну, среди неразберихи реформ и указов, от которых трясло заводы и корпорации, среди разболтанного и дурного управления, по вине которого падали самолёты и тонули корабли, сходили с рельсов поезда и взрывались ракеты, губерния, где правил Плотников, казалась оплотом порядка и благополучия. Упорно и умело Плотников преодолевал разорение и бедность, доставшиеся от предшественников. Он обустроивал и ремонтировал дороги, строил жильё, открывал больницы, реставрировал старинные усадьбы. Появление

ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов "Чеченский блюз", "Красно-коричневый", "Идущие в ночи", "Господин Гексоген", "Крейсерова соната", "Человек звезды", "Время золотое", "Убийство горюдов". Живёт в Москве.

* Журнальный вариант.

каждого нового дома, каждого нового моста, каждого стадиона или плавательного бассейна он воспринимал как личное приобретение, как своё собственное достижение, которое передавал в дар губернии, что способствовало её укреплению и процветанию. Он был садовником, который вживляет саженцы, ухаживает за ними, терпеливо ожидая будущего цветения. Садовником, а не лесорубом, потому и отмечал свой путь садами, а не просеками.

Изнурённые перестройкой, ограбленные лихоимцами, советские заводы лежали грудой развалин или чадно дымили, отравляя небо железными ядами. Жутко и болезненно скрежетали старые станки и поломанные краны, рождая тяжеловесных уродов. Плотников не закрывал эти допотопные производства, ждал, когда умолкнет на них последний мотор, погаснет последняя сварка. Умерший завод распиливали на части, сваливали лом в плавильную печь. И в бесцветном металле плавилось изнурённое время. В кипящем тигле таились образы новых машин и заводов.

Плотников искал за границей компании и фирмы, готовые перенести в Россию своё производство, те промышленные новинки, которых не могло быть в России. Заманивал иностранцев, предлагал им всевозможные выгоды, налоговые льготы, безопасность и сбыт. Ему принадлежала новация, получившая название “индустриальные парки”. Среди пустошей, вблизи от шоссе и железных дорог отводилась территория. Тянулась высоковольтная линия, газопровод, водовод. И на эту территорию, как на космодром, опускался инопланетный корабль. Немецкий автомобильный завод. Итальянская фармацевтическая фабрика. Корейское производство телевизоров. Один за другим заводы приземлялись целыми эскадрильями, компактные, серо-стального цвета, почти невидимые среди лесов и полей. Мимо них, незамутнённые, продолжали течь реки. У заводских проходных цвели полевые цветы. Заморская цивилизация вживлялась в русскую почву, пускала побеги, множилась, сливаясь в живой покров. И это преобразование происходило без надрыва, без скрежета костей, без истошной пропаганды. Плотников ставил заводы, как его предок ставил срубы, насыщая губернию этой изысканной цивилизацией.

Его успехи отмечала страна, замечал Кремль. Ходили слухи, что его призовут в Москву и предоставят высокий пост в правительстве, чуть ли не должность премьера. Ибо экономика нуждалась в новых дерзновениях, промышленность требовала новых лидеров, не похожих на говорливых и пустых неудачников, остановивших развитие. Плотников знал об этих слухах, относился к ним серьёзно, ждал приглашения в Кремль. И продолжал рыскать по Европе и Азии, заманивал в свою губернию авангардные предприятия.

Он чувствовал, что ему предстоят огромные свершения. Чувствовал приближение вспышки, которая озарит всю его жизнь. Готовился к поступку, которого ожидают от него множество людей, заблудших в сумерках бессмысленных дел, в лепете пустопорожних слов.

Ещё и ещё раз уподоблял себя плотнику, который кладёт венцы один на другой, так что рубленные пазы, набитые мхом или пенькой, не оставляют зазоров.

Но иногда ему чудилось, что зазор остаётся. Он ловил странный холодок неведомого сквозняка.

В свои пятьдесят он был крепок, высок, исполнен властной величавости и тёплого дружелюбия. На большом открытом лице серые глаза смотрели внимательно, зорко, и волнение, радость или горькое, угадывалось по крыльцам носа, которые напрягались, бледнели. Губы сохранили мягкость и свежесть, и только в уголках рта начинали темнеть едва заметные складки, из которых со временем потекут тёмные реки старости.

Сейчас он осматривал металлургический комбинат в десяти километрах от губернской столицы. Хозяин комбината, Фёдор Леонидович Ступин, владелец заводов на Урале и в Нижнем Новгороде, шёл рядом с ним моложавой походкой спортсмена. В его стальных глазах светились раскалённые точки воли, упорной страсти и жёсткой непреклонности, позволявшей владеть и управлять могучим заводом. Ступин готовил к пуску громадный цех по производству труб, столь необходимых сибирскому газопроводу. Сталелитейное

производство уже работало, переплавляло металлолом в слитки, которые копилась на складе, ожидая пуска трубного цеха.

Они шли в ревушем и дрожащем сумраке, среди малиновых отсветов и металлических запахов. Их источала электропечь — малиновый цветок среди мрака, с сочными лепестками и бесцветной сердцевинкой. Их сопровождали вице-губернатор Владимир Спартакевич Притченко и главный инженер завода Коляда. Все четверо были в белых пластмассовых касках, придававших им сходство с экзотическими птенцами.

— Вчера, Фёдор Леонидович, приезжала экологическая экспертиза, — докладывал главный инженер Ступину. — Брали пробы воздуха, грунта, воды. Делали замеры в километре, в пяти, в десяти от комбината. Всё в норме. Я им говорю: “Да у нас в цехах птицы живут. А они в дурном месте сесть не станут”.

Главный инженер махнул вверх рукой, и Плотников увидел, как в малиновом зареве мелькнул голубь, вспыхнул стеклянным оперением.

Плотников, украшая губернию заморскими заводами, не просто умножал богатство вверенного ему края, не просто заменял изношенную, израсходованную технику на восхитительные, невиданные в России машины. Он надеялся, что люди, обретая эти волшебные технологии, станут одухотвореннее и свободнее. Очнутся от гибельных лет, преодолеют поражение. Он улавливал в работе заводов энергии, преображающие утомлённую страну.

Подходили товарные составы с металлоломом. Изрезанные, расплюснутые останки машин высыпались на площадку гремящим колючим ворохом. В этой ржавой горе угадывались контуры разбитых автомобилей, измятые ковши экскаваторов, изуродованные железнодорожные рельсы. Виднелась танковая башня с помятой пушкой. Громоздились дырявые баки, сгоревшие трансформаторы, бортовина корабля с ватерлинией. Странно, нелепо, протыкая обломки, торчала чугунная рука безвестного памятника, словно последний взмах утопленника.

Электромагнитный кран, как присоска, всасывал обломки, переносил в бадью, и та уплывала в цех, сбрасывала обломки в зев печи. Чёрный зев напоминал могилу, куда падали железные мертвецы. Шли похороны убитых машин. Траурно звучали раскаты и лязганья цеха.

В печи, как в глухой пещере, слабо замерцало. Полетели зелёные и синие светляки. Раздался рык, словно в пещере проснулся разбуженный зверь. Полыхнула зарница, другая. И возникли три раскалённых клыка — три могучих электрода с пульсирующими белыми молниями.

Печь содрогалась и чавкала. Клыки рвали и давили железо. Огненная слюна хлопала, растворяя обломки. Печь, словно пасть, жевала, хрипела, давилась. Чёрные комья таяли. Казалось, их слизывает красный мокрый язык. Печь наполнялась вязкой малиновой жижой, дышала красным дымом, сыпала искры.

Сталь кипела. В ней лопались бесцветные пузыри, взлетали вязкие всплески. Печь казалась огромной кастрюлей, в которой варилось варенье. Шлак бурлил и вздымался, как чёрно-красная пена. Трескался, и в трещинах возникала ослепительная белизна, золотое сияние.

Теперь они шли по громадному, уходящему вдаль цеху, где заканчивался монтаж оборудования. Как великаны, стояли тяжеловесные прессы. Круглые ролбанги. Драгоценно вспыхивали электронные системы управления. Весь цех по частям был кушлен в Италии, Германии, Японии. Могучая заморская техника была готова служить насущному русскому делу: катать трубы для газопровода, соединявшего заполярный Ямал с Китаем. Это были бронхи, вдыхающие русский газ в китайские лёгкие.

— Фёдор Леонидович, к декабрю запуститесь? Поздравим вас с первой трубой? — обращался Плотников к Ступину, наблюдая, как монтажники в касках тянут связки разноцветного кабеля. — Мне дали понять, что на запуск может приехать президент. Этот газопровод — его личное детище. Его ответ дурной Европе.

— Мы стараемся, Иван Митрофанович, — Ступин смотрел на сочленения гидравлического пресса, словно мысленно гладил кожу огромного послушного

животного. — Европа чинит препятствия. Отказывается продавать электронику. Приходится хитрить, добывать через третьи страны. Я тоже слышал о возможном приезде президента. Для нас обоих это будет событие.

Ступин смотрел, как движется под металлическими сводами порталный кран, и в крохотной стеклянной кабине, как лётчица, поместилась крановщица, оглашая гулкое пространство тревожным гудком.

Главный инженер и вице-губернатор приотстали, заглянув на пульт управления прокатного стана.

— Отдаю должное вашей энергии и вашей смелости, Фёдор Леонидович, — Плотников с удовольствием смотрел в открытое волевое лицо Ступина, который жадно озирал убегающий в туманную даль цех.

— А правда ли, Иван Митрофанович, что вы можете переехать в Москву? Приедет президент и заберёт вас в Москву?

— Я люблю мою губернию. Я начал здесь большое дело и должен его закончить. Мы построили за десять лет сто тридцать заводов. Так строили только при Сталине во время первых пятилеток, перед войной. Но тогда кости трещали, и кровь лилась из разбитых носов. Мы же ставим заводы, как сажают деревья. В бюджете скопились деньги, и теперь я хочу вложить эти деньги в людей. В жильё, в дороги, в детские сады и больницы. У нас огромные планы. Зачем мне уезжать из губернии?

— Но ведь кто-то должен заниматься экономикой в целом. Эти, в правительстве, никогда производством не управляли. Не знают, как выглядит завод. Только меркантильные схемы. Только менеджеры. Ни одного инженера. Затолкали страну в тёмный мешок. Кто-то должен из мешка Россию достать.

Моментальная ненависть сдвинула брови Ступина, польхнула в глазах фиолетовой тьмой. Он прикрыл веки, чтобы не обнаружить накопившуюся усталость, неприязнь, глухой ропот.

— Вокруг президента скопились хитрые дельцы и скользкие перевертыши. — Ступин уступал дорогу автопогрузчику, везущему сияющие стальные катки. — Иногда мне кажется, вокруг него образовался заговор. С ним может что-то случиться. Если к власти придёт это льстивое и лживое племя, страны не станет. Они отнимут у нас страну, отнимут заводы, отнимут у народа России. Русские не уцелеют. Россия не уцелеет.

Голос Ступина захлебнулся, словно к горлу поднялся ком боли. Плотников почувствовал, что в этом крепком, удачливом человеке есть тонкая струнка, на которой держится всё его громадное дело. Его завод, его угрюмое служение. Как и в нём самом, Плотникове. Бруски заводов серо-стального цвета, что он ставил один за другим в губернии, напоминали плотную кладку, в которой не было зазора, как в крепостной стене. И это сообщало стене надёжность, сообщало надёжность его делу, всей его жизни. Но иногда ему казалось, что тайный зазор существует, в кладке притаилась огреха, и стена может качнуться.

Он пережил моментальную растерянность. Преодолеl её.

— Россия устоит, Фёдор Леонидович, что бы ни случилось. Русский народ устоит. Потому что русский народ Богу угоден.

Их нагнали вице-губернатор Притченко и главный инженер Коляда.

— Фёдор Леонидович, пришёл факс из Италии, — Коляда протянул Ступину лист бумаги. — Бригада наладчиков вылетает из Турина.

— Я же говорил, итальянцы не подведут! Мужская дружба сильнее санкций, — Ступин волил по листу радостным взглядом.

Плотников рассматривал коричневое от несмываемого загара лицо Коляды. На нём синели яркие солнечные глаза. Такой загар бывает у металлургов, проводящих жизнь у огненных печей, а солнечная синева глаз предаётся по наследству от какой-нибудь ясновидящей ведуньи.

— Откуда вы к нам в губернию? — спросил Плотников.

— С Донбасса, из Мариуполя. Там теперь металлургам делать нечего. Только артиллеристам, — синие глаза Коляды потемнели, словно из них ушло солнце.

— Устроились? Как с квартирой?

— Пока снимаю. Спасибо, завод помогает.

— Мы только что сдали коттеджный посёлок. Предлагаю дом по льготной ипотеке. Владимир Спартакович, — обратился он к вице-губернатору, — поможем металлургам?

— Конечно, — бойко ответил Притченко. — Хохол хохлу всегда поможет, — хлопнул по плечу Коляду.

Они обошли трубопрокатный цех, ещё холодный и пустынный, и вернулись в горячую зону, где редела и содрогалась печь.

— Хочу вам сделать подарок в день пуска, Фёдор Леонидович. Пришло из нашего областного театра балерин. Пусть танцуют в цеху на железных плитах. Символизируют изящество и лёгкость наших с вами подходов.

— А может, лучше группу “хэви метал”? — засмеялся Ступин.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Плотников наслаждался мягким шелестом шин по безупречному, недавно проложенному шоссе. Навстречу, ударяя ветром, проносились тяжеловесные фуры, похожие на стада слонов. Мелькали, как солнечные вспышки, молниеносные автомобили. В полях зеленела рожь. Холмы, то голубые, то розовые, были в полевых цветах. Тихие речки, солнечные опушки, убегавшие вдаль просёлки — всё это радовало и манило своей тихой доверчивой красотой. И почти незаметные, как тени облаков, появлялись и исчезали заводы. Французский цементный завод напоминал башни небольшой живописной крепости, построенной среди сосняков. Чешское фармацевтическое производство с белоснежными, стерильными цехами, в которых бесшумно работали сияющие агрегаты. Биотехнологический комплекс — серебряные цилиндры и сферы, подобье церковных куполов. Предприятия пропадали в лесах, омывались чистыми реками, возникали в лугах с колокольчиками и ромашками.

Плотников передвигался по области без охраны, без тяжеловесного джипа с сиреной и ядовито-лиловыми вспышками. Его сопровождали только водитель и неизменный вице-губернатор Притченко, самый приближённый из заместителей.

— Вот бы хорошо, Иван Митрофанович, если бы Ступин пустил свой цех в декабре. Как раз к вашему дню рождения. Был бы подарок.

— Он пустит. Подарок не мне, а президенту. Трубы, дорогой Владимир Спартакович, — это оружие, не менее мощное, чем тяжёлые ракеты.

Теперь они приближались к посёлку Копалкино. Мысль об этом удалённом поселении причиняла Плотникову страдание, мешала воспринимать свою деятельность как успешное преобразование губернии, в которой исчезает убогость и бедность, а захолустье уступает место совершенной цивилизации.

Указатель “Копалкино” вводил с шоссе. Покинув ухоженную трассу, машина запрыгала по разбитому асфальту. Обочины были замусорены, навстречу катил какой-то нелепый, виляющий велосипедист, поля были не засеяны, зарастали молодым лесом. И только река, чистая, с синей студёной водой, радовала глаз.

Плотников испытал неприязнь к этому виляющему, должно быть, пьяному велосипедисту, к молодым осинкам, заселяющим непаханое поле, к уродливой чёрной махине развалившегося зернохранилища. Всё это портило образ преуспевающей губернии. Образ успешного губернатора, дающего другим областям пример образцового хозяйствования.

На въезде в Копалкино на покосившихся ржавых опорах сохранилась стародавняя надпись: “Совхоз “Красный луч”. Надпись была прострелена крупной дробью, в слове “луч” буква “л” была заменена буквой “с”. Главная улица нещадно пылила, заборы покосились, дома казались обшарпанными, деревья были серыми от пыли. В кювете валялся остов “Москвича” допотопной конструкции, вокруг играли неумытые дети. И опять Плотников испытал раздражение, какое испытывает садовод, увидев на цветущем дереве сухую уродливую ветку в лишайниках и коросте.

Перед зданием администрации серого силикатного цвета с линиялым триколором собрался сход. Два десятка жителей топтались у ступенек админис-

трации. Они казались одинаковыми — и мужчины, и женщины, в мятых несвежих одеждах, словно их подняли из кроватей, где они прятались от солнца в сырой тени. Глава поселения Буравков был им под стать: в поношенном костюме, несвежей рубашке и в каком-то попугаечного цвета галстуке. Галстук не доставал до брюк, открывая круглое брюшко. Буравков кинулся встречать Плотникова, протягивая сразу обе руки, словно боялся не поймать начальственное рукопожатие.

— Спасибо, что приехали, Иван Митрофанович. А мы вот народ собрали. Люди хотят вас увидеть, — смущённо улыбался глава и не отпуская большую тёплую руку Плотникова, стискивая её корявыми ладонями.

— Я тебе, Виктор Терентьевич, в следующий раз галстук подарю, — усмехнулся Плотников. Отобрал руку и легонько дёрнул галстук Буравкова, притягивая его к ремню.

Люди смотрели молча, угрюмо. И не было в их лицах любопытства или неприязни, а лишь тупое равнодушие, готовность повернуться и разойтись по домам, чтобы снова улечься в мятые сырые постели. И это отупение, равнодушие, обречённость доживать свои жизни в тихом тлении, это медленное и необратимое умирание вызвали у Плотникова острое возмущение, желание разбудить, растолкать их криком, свистом, ударами, чтобы в их мутных глазах возникло живое чувство, пусть не радость, а ненависть, и с этой разбуженной ненавистью он сможет взаимодействовать. Своей страстью и волей он превратит эту ненависть в энергию творчества.

— Ну, что, граждане славного поселения Копалкино, закопались вы, скажу я вам, глубоко. Не люди, а корнеплоды какие-то! — Плотников поднялся на ступеньки крыльца, возвышаясь над головами толпы своим крепким подвижным телом, элегантным костюмом, дорогим французским галстуком. — Есть такие лежалые корнеплоды, свёкла или картошка, в земле и плесени. У вас хоть в домах зеркала есть? Вы хоть бреестесь, головы чешете, детей умываете? — Плотников хотел их задеть, оскорбить, вызвать ропот. Увидеть, как в глазах сквозь муть блеснёт гнев. — В вашем Копалкине только кино про войну снимать. Вот, дескать, что с нами проклятые оккупанты сделали. А вам, дорогие мои, и грим не нужен. Как военнопленные смотрите. Может, к вам учёного прислать, который изучает древние племена, жившие на территории нашей губернии? Дескать, сохранилось одно древнее племя, живут в пещере, добывают огонь трением, копают в полях луковки и клубеньки. И вождь вашего племени подходящий, из одной с вами пещеры. Правильно я говорю, Виктор Терентьевич? — он повернулся к Буравкову, который покорно слушал. — Но я вам скажу, и древние люди любили свою пещеру, чистили, убирали, украшали шкурами, рисовали на стенах наскальные рисунки, которые теперь считаются великими творениями. А вы? Неужели трудно каждому свой забор поправить, молотком постучать? Кисточку взять и наличник на доме покрасить? Машину песка привезти и выбоины перед администрацией засыпать? Неужели трудно, Виктор Терентьевич? — Он вонзал свои отточенные слова в понурого, испуганного Буравкова. В опухшее небритое лицо тучного мужчины с царапиной на щеке. В бесцветный лоб под линиялым платочком немолодой худощавой женщины, которая смотрела куда-то в сторону, приоткрыв рот. Но обидные слова не причиняли боли. Казалось, люди бесчувственны, словно находятся под наркозом. — А ведь может так случиться, что Копалкино исчезнет с карты губернии. Зарастёт лесом, дорогу дождями размывает, и останется только искореженный указатель “Красный суч”, неизвестно в какую сторону.

Плотников вдруг почувствовал усталость, словно все его силы утекли в неведомую дыру, которая сосала жизненные соки из этого погибающего посёлка, изнурённых людей, из утлых домов и чахлах деревьев. Где-то в тусклом небе, в мутной мгле таилась скважина, сквозь которую земля теряла свои животворные силы, питая этими силами неведомую сущность.

Плотников одолел минутную немощ. Решил воздействовать на сонные души вдохновенными речами.

— Дорогие мои, осмотритесь вокруг! Узнайте, в какой чудесной губернии мы с вами живём! Я пришло вам десяток автобусов самого современного

класса. Садитесь в них, старики и дети, и прокатитесь по нашим просторам. Вам покажут удивительные, небывалые заводы, которых не знала Россия. Голландцы построили завод по производству инсулина, который прежде мы покупали за границей. Вы увидите стерильные, ослепительно белые лаборатории, похожие на операционные. Автоматы, сверкающие, как серебряные скульптуры, разливают по ампулам целебную жидкость. Человек, работающий на таком производстве, не станет сквернословить, обижать детей и животных, мять цветы. Немцы возвели завод композитных материалов. Казалось бы, тонкая пленочка, а выдерживает вес грузовика. Казалось бы, хрупкая пластина, а не пробьешь её пулей. Казалось бы, шелковая нитка, а пропускает ток в тысячи ампер. Из таких материалов делают крылья сверхзвуковых самолётов, корпуса ракет, элементы космических станций. Наша с вами губерния летает в Космосе. Мы с вами космические люди! Мы купили в Японии станки, которые обрабатывают деталь, её не касаясь. С помощью этих станков на заводе вытачивают гребные винты для подводных лодок. Такие винты бесшумны. Лодку не засечёт ни один гидролокатор, и она становится неуязвимой. Наша с вами губерния плавает в океанских пучинах!

— Вы знаете, мы были отсталой областью, откуда уезжали люди; здесь не рождались дети, воровали и бездельничали чиновники. Теперь же мы строим новую губернию, новую страну, ту, что нам не дали достроить в девяностые годы. Страну, способную конструировать невиданные машины, совершать небывалые открытия, создавать неповторимые произведения искусства. К нам едут люди со всей России. Рабочие, учёные, художники. Здесь появляется новый человек, неутомимый, творческий, чистый умом и добрый сердцем. Не таким ли, скажите, является наш русский человек?

Плотников старался вовлечь этих людей в чудотворный вихрь, который когда-то подхватил его самого и повлёк по захоластным городкам, ветхим селам, преображая их, создавая невиданную жизнь, полную красоты и энергии. Это преображение многие называли чудом. Оно и было чудом, где объяснимое и понятное соседствовало с необъяснимым и чудесным. Он сам был преображён этим чудом, летел в этом таинственном чудотворном вихре.

Но люди, стоящие перед ним, оставались немые и глухие. Чудо их не коснулось. Вихрь не долетал до этих сломанных заборов и печальных лиц.

— Дорогие мои, может, вы думаете, что я рассказываю вам сказку о каких-то заморских краях? Да нет же, это всё рядом, по соседству с Копалкиным! Это и ваших рук дело! И вы к этому причастны! И вы строите новый завод по производству стекла, из которого можно создавать хрустальные вазы и ставить их на столы в ваших домах с букетами цветов. А также лазерные дальномёры для скоростных истребителей, сбивающих противника на дальних дистанциях. Всё это наше общее дело! Не моё, не бельгийских или немецких инженеров, не богатых предпринимателей и собственников. А всех нас, всего народа — наше общее с вами дело!

Плотников вдруг остро почувствовал, что его от людей отделяет стена. Его слова ударяются о прозрачную стену и падают, как оглушённые птицы. Вся земля перед крыльцом была покрыта ворохом убитых слов, словно ворохом мёртвых остывающих птиц.

Его сильное здоровое тело, облачённое в английский костюм, небрежно повязанный французский галстук, модные швейцарские часы с золотым браслетом, дорогой немецкий автомобиль, на котором он приехал, вся его напыщенная пылкая речь делают его чужим для этих изнурённых вялых людей. Проповедь, обращённая к ним, фальшива и неуместна. И эту фальшь чувствует и вице-губернатор Притченко, стоящий рядом с ним, потупив глаза, и глава поселения Буравков, поглядывающий на толпу, виновато улыбаясь, словно ему неловко за эту фальшь.

Было слышно, как где-то отчаянно лает собака. И Плотников подумал, что он сам со своей гремучей речью похож на собаку с привязанной к хвосту консервной банкой.

— Ну, что, товарищи, кто о чём хочет спросить Ивана Митрофановича? Губернатор не каждый день к нам приезжает, — Буравков, смущённый и подавленный, побуждал сограждан высказываться.

Люди молчали, топтались, отводили глаза. Иные вздыхали, глухо кашляли. Но постепенно в них начиналось движение.

Одутловатый, с лиловыми тенями в подглазьях мужчина, плохо выбритый, в замызганной спортивной куртке, кашлянул в грязный кулак:

— Я говорю, лесопилку закрыли, автобазу закрыли, совхоз раздербанили. Куда работать? Идти воровать? Молодёжь убежала, и её не сыщешь. Мы, кто постарше, водку пьём. А кто спился, тот стариков доит. Из пенсии стариковской себе на бутылку выуживает. Чего нам делать-то? На криок верёвку наматывать?

Маленький, лысый человек, с острым носиком и хохолком, похожий на вёрткую птичку, притопнул, суматошно взмахнул руками:

— Мы немцев сюда привели, в коттеджи их поселили, и они теперь нам хозяева. Русский мужик на них вкальвает. А наши батьки их из этих мест выбивали и до Берлина гнали. А мы их сами назад привели. И какая это “победа”? “Хенде хох” называется!

Распихав локтями соседей, выскочила тощая плоскогрудая женщина в мужском пиджаке, с синяком под глазом:

— А я на этих фрицев — “тьфу”! Я на этих олигархов — “тьфу”! Я лучше пить буду, крапиву жрать, а на этих кровососов не стану работать! В партизаны уйду! — она качнулась, её удержали, спрятали за спины других.

— Я вам не всё сказал! Я вернулся из Австрии, где заключил контракт с австрийской фирмой “Безен Дорхер”. Она производит музыкальные инструменты мирового класса — рояли, пианино, скрипки, виолончели. Завод по производству этих инструментов мы построим у себя в губернии. И не где-нибудь, а у вас, в Копалкине. Создание завода предусматривает благоустройство и преобразование всего вашего поселения. Здесь больше не будет кривых заборов, заколоченных окон, осевших домов. Мы разобьём прекрасный парк и соорудим великолепный фонтан, сияющий радугами. Мы уберём, наконец, этот чудовищный знак при въезде в ваше поселение, продырявленный дробью. И установим серебряный скрипичный ключ, который отныне будет символом Копалкина.

Раздвинув плечами стоявших, выступил вперёд человек, в рубашке пузыряем, в кепке набок, с белесым выщипаным чубом. В открытом воротах виднелась жилистая загорелая шея с цепочкой. Глаза шальные, бегающие, хмельные. Нос с горбинкой сдвинут на сторону, как хищный клюв. Губы узкие, подвижные, в мелких едких смешках. Казалось, сквозь лицо простодушного и беспечного гуляки проступало другое, лихое и хищное. Встал перед Плотниковым, расставив ноги, руки в бок.

— Здравствуйте, Иван Митрофанович, господин губернатор. Спасибо вам от народа, что сделали такой криок и к нам завернули. Вы не думайте, что мы здесь глухие и дикие и добрых слов не понимаем. Я музыку уважаю, сам на балалайке играл. “Калинку-малинку”, “Светит месяц”, “Во поле березонька стояла”, “Артиллеристы, Сталин дал приказ...” Этот завод, который рояли будет строить, — очень для нас хорошо и спасибо.

Человек поклонился. Глаза его смиренно потупились, а потом вспыхнули, яркие, солнечно-рыжие, как цветы одуванчика.

— Но чего я хотел сказать, Иван Митрофанович. Когда будете ставить завод и копать котлован, аккуратней. Грунты у нас больно тяжёлые. Как бы не просесть заводу! У нас почему Копалкино? У нас в старину мужики вздумали колодец копать и до центра земли докопаться. Говорили, есть царствие небесное, царствие земное и царствие подземное. На небе и на земле русскому человеку нет места. Так, может, в царствие подземном его примут. Копали, говорят, лет десять, и докопались. Ушли в подземное царствие и не вернулись, должно, там понравилось. А потом грунт осел, и колодец засыпало. И вход в подземное царствие завалило. Вот почему — Копалкино. Грунты, говорю, тяжёлые!

Человек озабоченно качал головой, показывая большие жилистые руки, готовые к земляным работам. Плотников собирался его успокоить, рассказать о новейших технологиях возведения фундаментов, о лёгких и сверх-

прочных конструкциях, об инженерах мирового класса. Но чувствовал в словах человека тайное глумление, язвительное веселье.

— Колодец завалило, да не весь. Видать, какая-то щель осталась. Дырка под землю уходит. Из дырки этой звук идёт, музыка, на песню похожа, только без слов. Зимой особенно слышно. От этой музыки люди, скажу я вам, звереют, шерстью обрастают. Друг друга грызут, оскорбляют, в колодцы дохлых собак кидают, и пьют, чтобы этот вой не слышать. И чего я боюсь, Иван Митрофанович, господин губернатор, что вы этот завод распрекрасный к нам посадите, и мастеров иностранных пришлёте, и Дворец культуры постройте, а мы, подземные люди, всё это в щепки! Мастеров погоним, скрипки топорами порубим, Дворец культуры спалим, а скрипичный знак, который вы серебром покроете, вырвем с корнем, и прежний знак вроем: “Красный суч”. Потому что, Иван Митрофанович, мы здесь, в Копалкине, подземные люди!

Глаза человека стали жёлтыми, как латунь, кривой нос заострился, и горбинка на нём побелела. Губы стали бесцветные, в мелких бешеных судорогах. И казалось, прежде, восхищённое лицо ушло вглубь, а выступило злое, безумное и жестокое.

— Ты чтой-то, Семён, говоришь? Чтой-то на нас наговариваешь? — глава поселения Буравков ужаснулся и умоляюще смотрел на Плотникова, ожидая для себя немедленной гибели.

— А ты, Буравок, лучше расскажи губернатору, как ты собаку свою удавил и таскал по посёлку на тресе, а потом в дом закинул, где раньше библиотека была. До сих пор там гниёт. Потому что ты, хоть и глава, а тоже подземный человек!

— Ты, ты... — заикался Буравков, — Ты, Сёмка, опять захотел на зону?

— Вы, Иван Митрофанович, его не слушайте. Я, Сёмка Лебедь, — человек добрый. И все у нас в Копалкине добрые, безотказные. Вот Анька, смотрите какая!

Он растолкал людей и вытянул из рядов женщину. Высокая, в розовой блузке, с тугой налитой грудью, с волосами в мелких барашках, она казалась большой куклой. Белое фарфоровое лицо, обведённые синевой глаза, выщипанные высокие брови, пунцовые губы, на которых блуждала размытая пьяная улыбка. В ушах её были серьги с красными камушками. Она стояла, покачиваясь, не отнимая у Сёмки белую пышную руку.

— Она, Анька, мужика своего потеряла. Он ей двух ребятишек заделал, а сам ушёл, может, в подземное царствие. Анька детишек растит, на хлеб зарабатывает. Ходит на трассу и под дальнобойщиков ложится. Они её так полюбили, что к нам в Копалкино приезжают. Спрашивают: “Где тут Аньота Сладкая?” Она и впрямь сладкая. Не желаете попробовать, Иван Митрофанович? — Сёмка тянул женщину за руку, словно хотел подвести её к Плотникову. И та, пьяно пошатываясь, шагнула, и вдруг истошно взвыла, долго, заваливая назад голову, обнажая белую шею, на которой дрожала налитая голубая вена:

— Ненавижу! Проклятые вы! Людоеды! Пусть вас черви сожрут!

Сёмка Лебедь хохотал, пританцовывая. Люди шарахались, разбегались. Глава Буравков что-то жалобно лепетал. Вице-губернатор Притченко вёл Плотникова к машине, заслоняя собой. Через минуту они мчались по разбитому шоссе, и Плотникову всё слышался истошный бабий вой, виделась жуткая синяя вена на шее у женщины.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Плотников смотрел на летящие дуга, мимо которых мчала его машина. Мчала мимо нескончаемой, растянутой на десятилетия заботы.

— Я хотел вам сказать, Иван Митрофанович, — вице-губернатор Притченко, некоторое время не мешавший его созерцанию, нарушил молчание. — Вам необходимо брать с собой охрану. Вы пренебрегаете безопасностью. Этот

безумец с жёлтыми глазами мог вас пырнуть. Что у сумасшедшего на уме? Что у бывшего уголовника в руке? Бережёного Бог бережёт, Иван Митрофанович. Вы преобразуете область, совершаете своеобразную революцию. А народ в период революций возбуждён, непредсказуем. От него можно ждать любых сюрпризов.

— Вы знаете мой принцип, Владимир Спартакович. “Любить народ, бояться Бога”. Можно затевать реформы во имя народа, и при этом для достижения великой цели скрутить народ в бараний рог, так что к концу реформ и народа не останется. И поэтому нужно бояться Бога, который не позволит тебе быть безжалостным в проведении реформ. Остановит тебя, если ты попытаешься совершить жестокость или насилие. Я не боюсь моего народа, потому что он понимает мои намерения.

— Иван Митрофанович, не понимает! Народ не благодарен. Народ вероломен. Наш народ, Иван Митрофанович, — народ предатель! Он предал царя и расстрелял его из наганов. Он предал святое Православие и порушил церкви. Он предал Сталина и навалил на его могилу груды мерзкого мусора. Он предал Хрущёва, Брежнева. Предал великий Советский Союз, который бесплатно учил и лечил народ, дарил ему квартиры. Народ и теперь готов предать.

— Но вы-то не готовы предать! Команда, которую я собрал, не готова предать. Если повсюду видеть предателей, нужно заточиться в крепость и не выходить наружу.

— Не поможет, Иван Митрофанович! Всегда найдётся предатель с золотой табакеркой в руках!

— Оставим это, — раздражённо перебил его Плотников. — Лучше расскажите о мероприятиях, которые вы намерены осуществить в ближайшее время.

Притченко огорченно вздохнул, сетуя на руководителя, который не внял его опасениям.

— Мероприятия проводятся в русле патриотического воспитания. Наши поисковики обнаружили двести останков павших советских воинов. Мы устроим торжественное захоронение, и вам, Иван Митрофанович, следует присутствовать.

— Обязательно, — кивнул Плотников.

— Готовятся шествие военно-патриотических объединений. Будут десантники, участвовавшие в Чеченских войнах и в южноосетинском конфликте. Молодёжные объединения, представители районов. Мне кажется, вам следует выступить с патриотической речью.

— Там будет речь о войне на Донбассе?

— Выступят ополченцы, воевавшие в Славянске.

— Я буду.

— Мы проведём шествие, в котором люди понесут фотографии своих родственников-фронтовиков. Если погребение останков станет актом поминовения, то шествие мы представим, как крестный ход, где символически совершится воскрешение из мёртвых, как на Пасху. Мне кажется, вы должны участвовать, нести портрет вашего погибшего деда.

— И двух его братьев, и бабушки. Все они воевали.

— И, наконец, в филармонии состоится концерт патриотических песен времён войны, песен на музыку Пахмутовой, композиций по мотивам песен группы “Любэ”. Мы пригласим кого-нибудь из кумиров патриотической общественности. Ищем кандидатуру. И на этом вечере прошу вас быть, Иван Митрофанович.

Летели цветущие луга и холмы, и среди них, как тени облаков, проплывали заводы. На указателях ведущих к ним шоссе дорог были начертаны названия немецких, французских, японских компаний.

— Я хотел, Иван Митрофанович, предложить вам сделать краткую становку. Здесь, неподалёку, существует удивительный храм и удивительный священник. Вам будет очень интересно.

— Нет, мне не интересно. Я тороплюсь. У меня впереди ещё встреча, — с раздражением ответил Плотников. Он стремился к себе на дачу, где предстояло ему драгоценное свидание. Награда за изнурительный день.

— Может быть, помните, с этим священником, отцом Виктором, был связан скандал. Владыка Серафим хотел сместить его с прихода, чуть ли не отлучить от церкви, да махнул рукой.

— Да, да, припоминаю. Какие-то иконы несуразные, обвинения в ереси. Не хочу, неинтересно. Домой, домой!

Водитель, услышав понукающий возглас, нажал на газ, вокруг зашумело, быстрее замелькали цветущие луга и поляны. Плотников вдруг почувствовал едва различимый толчок, неслышимый удар бокового ветра, который качнул машину, словно хотел её направить по иному пути. Плотников угадал в этом лёгком толчке безмянную волю, которая уводила его с шоссе.

— Ну, ладно, давай заедем. Только быстро! — произнёс он, удивляясь вторжению этой безмянной указующей воли.

Они свернули с трассы, проехали по узкому асфальту, достигли дубравы с синими тенистыми глубинами и солнечными вершинами. Остановились перед церковью, стоявшей на отшибе, вдали от невзрачной деревни, почти на опушке.

Церковь была сложена из чёрных брёвен. Над жестяной двускатной крышей возвышалась малая главка, с синей линялой луковкой и неказистым крестом. К торцу была пристроена островерхая колокольня с проёмами, в которых виднелись два колокола. Церковь была похожа на старинный корабль, потрёпанный бурями. Он причалил к опушке и, когда отступили воды, осел на мели, покосившись и тихо сгнивая.

Навстречу Плотникову из маленькой, притулившейся тут же избышки вышел священник. Выцветшая, пепельного цвета ряса, сквозь которую проступало худое, почти тощее тело. Лицо, такое же пепельное, иссушенное, с впадинами щёк, седой, негустой бородой. Волосы словно посыпаны золой, с залысынами. Будто весь он прошёл сквозь неведомый огонь, испепеливший все живые цвета. И только глаза, серые, нестарые, а зоркие и внимательные, спокойно смотрели на Плотникова.

— Здравствуйте, отец Виктор. Это губернатор Иван Митрофанович, — произнёс Притченко. — Захотел посмотреть вашу церковь.

— Я знаю Ивана Митрофановича, — ответил священник и поклонился. Плотников хотел было подойти под благословение, поцеловать руку с большими костистыми пальцами, но передумал.

— Прошу вас в храм, — священник указал на тёмный, угрюмый короб.

Поднялись на косое крыльцо, перекрестились и оказались в таинственном благоухающем пространстве, в котором струилось тихое сияние. Из окон падали голубые лучи, в них, казалось, ещё дышали сладкие дымы. В золотом иконостасе темнели иконы Спаса, Богородицы, Иоанна Крестителя. Застыли, воздев руки, апостолы и пророки. Плотников вначале устремил глаза на эти лики, перед которыми висели лампы с разноцветными кристалликами солнца. Но потом его изумлённый взор побежал по стенам, где красовались иконы, изумляющие своими необычными изображениями.

На большой золотисто-алой доске была изображена Богоматерь “Державная”, окружённая Небесными Силами, — ангелами, херувимами. Под покровом розовых облаков возвышался Сталин в белом кителе генералиссимуса, с алмазной звездой. Вокруг, словно виноградная гроздь, теснились маршалы в парадных френчах, золотых погонах. К ногам Сталина были брошены знамена поверженных фашистских дивизий. Икона изображала триумф Победы.

Плотников удивлённо смотрел. Глаза скользнули в сторону, и он увидел две другие иконы. На одной, серебристой, двигалось небесное воинство — всадники с нимбами, витязи в алых плащах, острокрылые ангелы. А ниже, повторяя их порыв и стремление, катились по Красной площади броневики и танки, маршировала пехота, шли лыжники в белых халатах с автоматами на груди. На мавзолее, под рубиновыми звёздами стоял Сталин, напутствуя войска. Это был парад 1941 года, в серебряном отсвете осеннего неба, овеянный метелью. Вторая икона, алая, золотая, ликующая, изображала парад 1945-го: Жуков на белом коне, Сталин на мавзолее, гвардейцы, кидające на землю штандарты с чёрными крестами. И над всем — Богородица, в окружении земных царей и райских праведников, витающих над парадом.

Плотников водил глазами, и повсюду, вспыхивая в лучах голубого солнца, сияли небывалые иконы. На изумрудно-зелёных, медово-золотых, пурпурно-алых досках наступали войска, горели танки, падали подбитые самолёты. И на каждой доске, влетаая в батальные сцены, возносились святые, сияли нимбы, струились ангельские плащи.

— Что это? — Плотников изумлённо спросил священника, продолжая рассматривать на стенах иконы, до конца не понимая их содержание. — Разве Сталин — святой? Жуков — святой? Разве на иконах такое допустимо?

— Нет, они не святые. Их головы не окружены нимбами. Хотя со временем и над их головами зажгутся нимбы, — отец Виктор говорил тихо, с истовой убеждённостью. Его серые глаза на измождённом лице переливались отражением чудесных икон.

Плотников чувствовал исходящую от икон волшебную силу. Они влекли к себе, манили в своё загадочное пространство, куда погружалась душа. Он шёл в строю лыжников, неся на плече лыжи, и у соседнего автоматчика были тёмные усики, и при каждом шаге вздрагивали полные щёки. А на майском параде он опустил к брусчатке тяжёлый штандарт с серебряным крестом и орлиным клювом, и ждал своей очереди, чтобы шагнуть к мавзолею.

— Но ведь это противоречит канону. Не всякий будет молиться на такие иконы, — произнёс Плотников.

— Великая Отечественная война — Священная война. Победа в ней — Священная Победа. Роты, полки и армии священны. Все, кто командовал взводами, ротами, батальонами, кто направлял в бой полки, корпуса и дивизии, кто управлял армиями и фронтами, — священны. Генералиссимус, полководец священной Красной Армии — тоже священный. Все, каждый солдат, окружены святостью, — у отца Виктора зазвенел от волнения голос, и на пепельном лице, на скулах проступил слабый румянец.

— Но как это соотносится со Священным Писанием? Может ли война быть священной? — Плотников сопротивлялся этому звенящему пророческому голосу, этой истовой убеждённости, добытой священником в неведомых Плотникову размышлениях и молитвах.

— Эта война необычная. Эта война всех времён и народов. Не было и не будет такой войны, какую выиграл наш народ. Это Христова война.

— Где же в этой войне Христос?

— Он в Победе. Победа — это Христос.

Плотников понимал, что стоящий перед ним сухощавый священник исповедует вероучение, которое родилось не в кельях, скитах и церковных оградах, а в одинокой душе, пребывающей в вечных странствиях. Плотников смотрел на иконы, и перед каждой в вазе или кувшине стоял букетик полевых цветов — ромашек, колокольчиков, васильков, собранных чьей-то любящей рукой.

— Но здесь, на иконе изображён Сталин. Разве он не повинен в разрушении храмов, в гонениях на церковь, в казнях священников? Может ли его изображение быть на иконе?

Отец Виктор страстно сжал губы, и в их синеватой бледности слабо заговело.

— Сталин действовал жестоко, он был грешник. Но он не был подобен царю Ироду. Ирод избивал Вифлеемских младенцев и искал среди них Христа. Сталин избивал людей в поисках среди них Антихриста. Он запечатывал врата адавы, открывшиеся в России после свержения царя, чтобы ад не наследовал землю. Война была сражением ада и рая. Сталин возглавил райское воинство и сокрушил ад. Христос был со Сталиным. Православная церковь многие годы молилась за Сталина. Она не может теперь отозвать назад своих молитв. Апостол Пётр трижды предал Иисуса и горько плакал об этом. Церковь не может уподобиться апостолу Петру в минуты его слабости.

Плотников не понимал до конца богословского смысла их беседы. Он лишь чувствовал, что священник преисполнен знания, которое добыл не размышлениями, а каким-то иным, внутренним опытом. Сердцем, а не разумом. Отстаивает этот опыт истово и несокрушимо, готовый претерпеть гонения и, быть может, гибель.

— Многие отреклись от Сталина, отреклись от Победы. Но другие верны ему. Грех предательства самый страшный...

— Как вы правы, отец Виктор! — воскликнул Притченко. — Мы — народ-предатель! И нам гореть в аду!

— Мы — народ-победитель, — твёрдо поправил священник. — Из нашего народа исходили и продолжают исходить святые. Они оградят нас от ада.

Плотников продолжал созерцать иконы, висящие на стенах. Казалось, что в тёмном срубе отворились окна в иные дали, и из них изливается чудесный свет.

— Это мученики Священной войны, которые принесли во имя Победы Христову жертву, — отец Виктор истово перекрестился.

— Хотите, я вас исповедую, Иван Митрофанович? — неожиданно спросил священник. — Перед этой иконой.

— Я не готов, отец Виктор, — Плотникова испугало это внезапное предложение. — Я к вам случайно заехал.

— Ничего не бывает случайного. Наклоните голову, я вас исповедую.

Плотников, повинуясь спокойному властному голосу священника, наклонил голову, почти касаясь креста на груди батюшки. Тот положил ему на темя сухую костистую руку. Вице-губернатор Притченко деликатно отошёл в сторону.

— В чём ваши грехи?

Плотникову было неловко стоять, склонив голову. Этот худой, с провалами щёк старик вдруг обнаружил свою власть над ним. Он повиновался этой настойчивой воле. У него были грехи, но он не думал о них как о грехах, а только как о мучительных, притаившихся в душе проступках, которые со временем забудутся. Его вина перед женой, которую затмила прелестная, обожаемая возлюбленная. Это раздвоение причиняло страдание, он был вынужден лгать жене. Он смотрел сквозь пальцы на уложения государственной власти, в которых было много несправедливости и неправды. Вспышки раздражения и гнева по отношению к подчинённым, которых он обижал, забыв извиниться, и те не смели ему возразить, молча переживая обиды. Всё это копилось в нём, смутно волновало и огорчало, но не было времени и умения погрузиться в свои душевные переживания и освободиться от их тайного гнёта.

И он сбивчиво каялся в этих грехах. Плотников умолк, испытывав жжение в горле, словно сделал глоток едкого напитка.

Всё это время рука священника лежала на голове Плотникова. Он почувствовал, как твёрдые пальцы отца Виктора трижды ударили его в темя.

— Вы исповедовались, Иван Митрофанович, перед иконой генерала Карбышева. Теперь духовно связаны с этой иконой.

Плотников смотрел на икону. В серебряном сиянии стоял голый человек, с резко выступающими рёбрами, скрестив на груди руки. На него проливался чёрно-синий смертельный поток, превращаясь в алмазные струи. И эта икона, как окно в иное, волшебное пространство, влекла Плотникова.

Подхваченный вихрем, он вошёл в икону. Встал рядом с Карбышевым. На него хлынул страшный ледяной поток, от которого остановилось сердце. Он превратился в ледяную прозрачную глыбу, сквозь которую видел отца Виктора, Притченко, туманно озарённую церковь. Лед хрустнул, раскололся, и он выпал из ледяной глыбы на руки Притченко.

— Вам плохо, Иван Митрофанович? — испуганно спрашивал Притченко.

— Нет, нет, ничего, — слабо ответил Плотников, чувствуя, как болят обмороженные рёбра.

Они покинули церковь. Солнце слепило глаза. Бревенчатый короб был похож на старый амбар. Отец Виктор провожал их к машине.

— Когда вам будет невъяснимо, Иван Митрофанович, помолитесь генералу Карбышеву, и он вас спасёт. Ангела Хранителя!

Машина мчалась по вечеряющему шоссе. Плотников взглянул на часы и увидел, что они покрыты корочкой льда. Лед таял, холодная струйка сбегала в рукав.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Они доехали до кольцевой дороги, окружавшей губернскую столицу. Не въезжая в город, направились к заповедному озеру, на берегу которого Плотников выстроил дачу. Ограждённая высоким забором, с воротами, охранным и камерами наблюдения, дача была давнишней мечтой, исполнение которой Плотников позволил себе только теперь, после нескольких лет пребывания в губернаторах.

Выходя из машины, Плотников приказал шоферу:

— Отвезёшь Владимира Спартаковича, заберёшь Валерию Петровну и вернёшься сюда. А вы, Владимир Спартакович, готовьте заседание правительства. Выносим вопрос о деревообрабатывающем заводе в районе Копалкино. Реконструкция посёлка и инфраструктуры.

— Будет сделано, Иван Митрофанович. Ох уж эти мне копалкинские! К ним без бронжилета лучше не соваться.

Машина с вице-губернатором скользнула и исчезла в аллее.

Валерия Петровна Зазнобина, Лера, была отрадой Плотникова. Она преподавала в педагогическом университете русскую литературу. Молодая, чудная женщина одарила его своей свежей и светлой женственностью, своим преданным служением, своей чуткой пронизательностью, с которой угадывала его тайные тревоги, честолюбивые стремления, невысказанные мечтания. Он звал её “Зазнобушка”. Она заслонила от него жену, постаревшую, потускневшую, хворую. Жена пребывала в вечном недовольстве и унынии, которые были для него дополнительным бременем среди его утомительных трудов и забот. Жалость к жене, чувство вины перед ней лишь усиливали его отчуждение, теснее сближали с Лерой.

Теперь, после утомительной дороги, он оказался на своей великолепной даче, которую строил с привередливой тщательностью, вознаграждая себя за многолетние телесные и духовные траты. Он подждал свою милую, расхаживая по даче, вдыхая чистые и свежие запахи ещё не обжитого поместья.

В гостиной, сквозь широкие окна и стеклянную балконную дверь сияло близкое озеро с тонкой серебряной полосой, которую оставила далёкая лодка. Перед балконом цвели розы. Высокие клёны и дубы обступали аллею, ведущую к воде. На стене висела картина, изображавшая женщину, похожую на перламутровую раковину. На стекле, среди шёлковых занавесок бесшумно трепетала бабочка. Должно быть, залетела, когда они с Лерой стояли на открытом балконе, любуясь озером. Плотников, испытывая нежность, открыл окно и выпустил бабочку.

В столовой буфет переливался дорогим фарфором и хрусталём. На столе стояли два бокала, полные солнца, и два серебряных витых подсвечника с белыми, нетронутыми свечами. Плотников зажгёт обе свечи, воображая, как они с Лерой в новогоднюю ночь будут сидеть перед горящими свечами, протягивая друг другу бокалы. Картина с фарфоровой миской, полной малины, была так хороша, что, казалось, в столовой витает аромат сочных, переспелых на солнце ягод. Плотников потушил свечи, тронув пальцами мякоть воска.

Кабинет был отделан красным дубом. На столе глянцевиито темнел компьютер. На книжной полке, не заполняя всего пространства, стояли книги. Одна, на английской, посвящённая реформам в Сингапуре, лежала плашмя, с кисточкой закладки. Плотников зажгёт висящий под потолком плоский светильник, состоящий из разноцветных стекол, среди которых угадывались прозрачные стрекозы и цветы. Посмотрел на свой портрет, выполненный известным московским художником: жёсткий, цепкий взгляд, волевые складки лица... Таинственные, летящие над головой мерцающие миры.

В спальне на широкой кровати с резными спинками поверх полосатого покрывала лежала подушка, шитая серебром. Он поднёс подушку к лицу, улавливая притаившийся в ней запах духов. Лера положила подушку на голую грудь, и теперь подушка хранила запах её духов.

Крытый бассейн напоминал голубой слиток. На дне, словно замороженный в голубой лёд, был изображён дельфин. Плотников наклонился, тронул

воду рукой. Бассейн слабо дрогнул, колыхнулся, и казалось, дельфин зашевелил своими плавниками и хвостом.

Предвкушая свидание с милой, Плотников обошёл дом. Услышал, как шуршит перед крыльцом гравий. Из машины вышла Лера, улыбаясь, зная, что он из-за шторы видит её. Машина исчезла, и она стояла, улыбаясь, не входя в дом, ожидая, когда он выйдет.

Он вышел на крыльцо сквозь стеклянную дверь и счастливо замер. Она стояла, белолицая, с каштановыми волосами на прямой пробор, высокой шеей и голыми плечами, на которых слабо держались фиолетовые дужки вольного, до самой земли сарафана. Ему казалось, она окружена прозрачным свечением: её чудесное, с едва выступающими скулами лицо, обнажённые, с солнечным отливом плечи, розовые мочки маленьких прелестных ушей, сквозь которые просвечивало солнце, — всё её высокое стройное тело, спрятанное в лиловую ткань сарафана. Плотников, не спускаясь к ней, радостно выхватил её взором из зелёных клёнов, из кустов красных роз, из бирюзового озера, над которым стояла недвижная туча с оплавленной кромкой. Сбежал по ступенькам и стал целовать смеющиеся сладкие губы, плечо, крохотные бриллианты в ушах.

— Ты моя прелесть! Моя Зазнобушка!

— Думаю о тебе каждую минуту. А вдруг не позвонишь? Вдруг не позовёшь?

— Колесил по дорогам. Люди, встречи, ссоры, заботы. И думал, когда же, наконец, вечер? Когда увижу тебя?

— Ну, вот и увидел.

— Ужин готов. Прощу к столу.

— А что, если перед ужином пойти к озеру? Искупаться? Такое у тебя чудесное озеро.

— Это твоё озеро. И твои клёны. И твои розы.

— И ты мой?

— И я.

Они пошли от дома к озеру с белесым песчаным берегом и купами осоки. Озеро было нежно-голубое, с серебряной полосой и тёмно-лиловой далью, над которой застыла туча. Лера сбросила босоножки, повела плечами. Фиолетовый сарафан упал, и она переступила его, поднимая белые ноги. Не оглядываясь на Плотникова, пошла к воде, ступая по песку. Шагнула в озеро, медленно погружаясь, двигая лопатками. И он жадно, восхищённо смотрел, как гибко изгибается ложбина её спины, и бегут от её бёдер тихие волны. Озеро наполнялось её женственностью и, казалось, радостно дышало, обнимая её. Он вдруг испытал неизъяснимую нежность, мучительное обожание, словно время остановилось, и это мгновение запечатлелось в нём навсегда: озеро с серебряной полосой, огромная туча, лиловый, брошенный на песок сарафан. И она — белая, чудесная, стоит по пояс в воде, окружённая водяными кругами.

Она легла на грудь и поплыла, бесшумно, мягко, оставляя след на воде, как плавают выдры. Он видел, как потемнели от воды её волосы, и что-то слабо сверкало — то ли солнечные капли, то ли крохотные бриллианты.

Он разделся. Вода была бархатной, тёплой. Стопы чувствовали замшевый песок. Бросились врассыпную мальки, зеленовато-голубые, с золотыми глазами. Голубая стрекозка закружилась над ним, собираясь сесть на плечо, но испугалась и улетела в осоку. Он зашёл по грудь и стоял, глядя, как она повернулась и плывёт к нему. Он видел её глаза над водой, поднятые брови, губы, которыми она сдувала набегавшую волну. Подплыла и встала, зонком сбрасывая с плеч воду, сияющая, восхитительная, и он обнял её, чувствуя мягкие груди, колени, дышащий живот.

— Как ты прекрасна, — сказал он, целуя её стеклянные плечи, чувствуя, как пахнет она свежим озером, словно водяная кувшинка.

— Я знала, ты смотрел на меня, когда я шла к озеру.

— Хотел тебя навсегда запомнить.

— Пусть озеро нас запомнит.

Застрекотал мотор, из-за мыса выскользнула лодка, помчалась мимо, задирая острый нос, разрезая воду. И они ждали, когда волна докатится до них и плеснёт.

Они возвращались в дом. Её сарафан потемнел на животе, и к нему при- стали песчинки, как солнечные искры.

В столовой он с нежностью и весёлым вниманием смотрел, как Лера хо- зяйничает, уже зная, где хранятся в буфете тарелки, столовые приборы. Уго- щала его ломтями мяса, успевшего остыть, молодой картошкой. На белых клубнях, как крохотные птичьи следы, прилипли зелёные травинки укропа. Вот она рассекла сочный алый помидор, наполненный золотистыми семена- ми. Резала длинными долями хрустящие огурцы.

— Настоящая летняя трапеза. Вкуснее, чем в любых ресторанах, — хвалил он её, наливая в бокалы вино. — За тебя, моя хозяйюшка!

— Ты в следующий раз закажи мне обед. Сама тебе приготовлю.

— Суп из белых грибов. Уже появились на рынке.

— Приготовлю, мастерица варить грибные супы.

— Цветную капусту полей яйцом и зажарь.

— Пальчики оближешь. А ещё испеку тебе пирожки, всякие пышки, пампушки. Ты ещё не знаешь, какая я кулинарка. Ты приезжаешь домой, а обед готов.

Она посмотрела на него и испуганно замолчала. И этот испуг на мгно- вение передался ему. С её появлением его прежний мир стал шататься, пу- таться, и он боялся думать, что станет с его миром, с его домом, с женой и сыном, когда у него не хватит сил утаивать свои свидания, утаивать свою любовь.

— За тебя, мой милый, — она протянула бокал с вином. В глазах её была тайная печаль, отражение серебряного озера и фиолетовой тучи, уже накрывшей далёкие берега.

Он взял её за руку и повёл из-за стола. Она шла, потупясь, почти не- охотно, словно между нею и им возникло отчуждение. И он хотел его пре- одолеть, извлечь тёмную чужую частицу, залетевшую в их светящуюся близость.

На полосатом покрывале лежала подушка, расшитая сингапурскими ма- стерицами. Он обнял её плечи. Сарафан скользнул на пол, и она в своей белизне стояла, наступив на фиолетовый ворох.

Она не поворачивалась к нему. В её неподвижности была печальная по- корность. И это безропотное повиновение причиняло ему боль.

Он прикоснулся губами к её волосам, ещё влажным от недавнего купа- ния, к её затылку. Губы чувствовали тихое, струящееся в ней тепло, чуть слышные биения. Её жизнь, её женственность, её любимая душа принадле- жали ему, и он осторожно целовал её шею с пульсирующей жилкой, мочку уха с мерцающим камушком, прохладное плечо. Каждым поцелуем вдыхал он в неё свою нежность, стараясь расколдовать её, растопить её печальную неподвижность. Медленно опускался, скользя губами по ложбинке спины, целуя её бедра, её прохладные ноги. И она отзывалась на прикосновение его губ, тихо вздыхала, чуть слышно вздрагивала. Обернулась к нему, глядя сверху вниз дрожащими, в жадном блеске глазами.

— Иди ко мне!

Ему казалось, что их завернула в себя безумная волна, слепящий водо- ворот, который их перевёртывал, метал из стороны в сторону, тошил. Не да- вал дышать, не давал кричать, уносил в свою бездонную глубину.

Её огромные, дрожащие, глядящие мимо глаза... Её губы в бессвязном лепете, с каплей крови, оставленной его поцелуем... Её зубы, которыми она хватает его пальцы и больно сжимает.

Из глубины, куда он падал, навстречу поднималось розовое пятно, раз- мытое свечение, словно там находилось подводное светило. Оно приближа- лось, дрожало, он торопил его приближение. И слепящая вспышка, мучи- тельный стон, смертельная сладость. Птичье оперенье стеклянно блеснуло. Птица, охваченная огнём, исчезла в слепящем жерле.

Плотников лежал отрешённо, закрыв глаза. Почувствовал лицом слабое тепло. Сквозь закрытые веки угадал её руку, которую она, не касаясь, прильнула к его лицу. Поймал её пальцы, прижал к губам.

— Люблю тебя, — сказала она.

— Ты моя любушка, Зазнобушка.

Лежали, прижавшись голыми плечами. В окне потемнело. Туча пришла и встала над домом. Было видно, как отяжелела листва деревьев, наполнилась сумраком аллея.

— Думаю о тебе каждую секунду, — сказала она. — Подумаю и начну улыбаться. Иду по улице и начинаю смеяться. Прохожие спрашивают: “Почему вы смеётесь”? Но разве им скажешь, что всё во мне ликует от любви к тебе. У меня галлюцинации. Слышу твой голос. Вижу твои брови и губы. Я не думала, что так можно любить. Я не девушка-студентка, но то, что стало со мной теперь, это небывалое чудо. Ты наградил меня этим чудом. Может, ты меня околдовал? Ты колдун?

— Ты же видишь, что я колдун. Кинул в вино приворотное зелье.

— Моё последнее увлечение, — оно прошло, и всё во мне погасло. И хорошо, и тихо. Дом, университет, любимые лекции. Я думала, так будет теперь всегда. И вдруг появился ты, на выпускном вечере. Подошёл, поздравил. Не помню твоих слов, но твои глаза, сияющие, полные света, посмотрели на меня, и я пропала. Я и теперь пропадаю!

Он прижимал к губам её пальцы. Её женственность окружала его. Она лелеяла, находила в нём то, чего он не знал о себе. Он был счастлив и горд тем, что эта молодая прелестная женщина наделяет его красотой, которой он в себе не видел. Благородством, о котором никогда не задумывался. Добротой, которая не ценилась и не замечалась другими. Она возвышала его, приписывала идеальные свойства.

— Я ждал, когда кончится этот день, и я увижу тебя. Люди, люди, бесконечные встречи, заботы, ухищрения. Терпеливые уговоры. Утомительные ожидания. Столкновения, неудачи. Вся моя жизнь в этом. Но вот всё это отлетает, и я с тобой. Понимаю, что мне ничего не надо, кроме твоих чудесных любимых пальцев, твоих близких волос, которые ты намочила в озере, твоей родинки на плече.

Стекла в окне тихо задрожали и зазвенели. На них давил поднявшийся ветер. И этот слабый перезвон казался откликом на его слова. Словно кто-то невидимый пробивался к ним из сада, хотел что-то добавить к его словам. Что-то важное, о чём он забыл сказать.

И он рассказал ей о Сёмке Лебеде в Копалкино. Она внимательно выслушала.

Он вдруг подумал, что нашёл женщину, с которой начнётся для него новая жизнь, с которой у него драгоценные совпадения в каждом слове и чувстве. От неё исходит одно благо, одна дивная сладость. А от прежней жизни, от тусклых воспоминаний, досадных огрех и ошибок больше ничего не осталось.

Плотников испугался этой мысли, вслед за которой последует страшный и мучительный оползень, сметающий его бытие. Опечаленное, несчастное лицо жены, беспомощной в своём увядании. Верящие, полные света глаза сына, для которого отец был безупречен. Плотникова охватила паника, и он убежал от этой мысли. Мысль ещё гналась за ним, как оса, и постепенно отстала.

Лера не заметила его мгновенного помрачения.

— Ты рассказал об этом Сёмке Лебеде, о его ненависти. Иногда кажется, что в народе живёт зверь, косматое чудище. Да и как не жить! Столько обид, насилий, обмана! Столько во все века мучений! Но найдётся сердце, которое его полюбит. Найдётся душа, которая увидит в нём Божье творение. И этот Сёмка Лебедь, если его полюбить, если в него поверить, преобразится. Ответит добром и любовью.

В стекло ударил ветер, со звоном растворил окно, ворвался холодной силой. Занавески взлетели и стали метаться, как две танцовщицы в прозрачных рубахах.

— Сейчас будет гроза, — сказал он, вставая. Вышел на балкон, охваченный свежестью, шумом, запахами неба, листвы и озера. Далёкая вода казалась фиолетово-чёрной. Туча выбрасывала из себя косматые клубы, словно строила одну за другой башни и тут же их валила к земле. Деревья бушевали, выворачивались наизнанку, словно боролись между собой зеленые великаны, напрягая тугие спины. Розы в сумраке светились огненно-красным. На перилах балкона лежали забытые садовые ножницы.

В голые плечи Плотникова ударили холодные капли. Лера вышла и встала рядом, и оба они смотрели на бушующие деревья и красные розы.

Дождь приближался от озера. Заволок аллею туманом, скрывая берег. Зашумел в отдалённых деревьях, укрощая их бурное колыханье. Надвинулся шумом, тусклым блеском. Наполнил деревья литой тяжестью, от которой те замерли, переполнились водой, как огромные зелёные лохани. И ударил ливень, всей мощью, оглушающим шумом, хлюпающими струями, от которых на земле вскипели ручьи, запузырились лужи, заблестела трава. В деревьях открылись зелёные гулкие водостоки, из которых хлестала воды. Розы, как флаконы, отяжелели, согнулись и горели, качались в дожде.

— Как прекрасно! — сказала она, прижимаясь к нему. На балкон залетали холодные брызги, но они не уходили. В туче хрустнуло, громыхнуло. Провернулось в чёрной глазице ртутное око. Гул покотился, удаляясь, словно рокотали сердитые басы.

Плотников испытал мгновенье восторга, юношеской удалы, бесшабашной свободы. Схватил садовые ножницы, перемахнул перила балкона и помчался, скользя по лужам, сквозь ледяные водопады, подставляя голову под зелёные водостоки. Подбежал к кустам роз. Срезал тёмно-красный тяжёлый цветок и вернулся на балкон. Преподнёс розу Лере. Счастливые, без одежд, как в первые дни творения, стояли они в блеске дождя. И она касалась губами розы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Плотников возвращался в свою губернскую столицу, когда начало темнеть. На въезде в город, где ещё недавно тянулось болото и запущенный пустырь, теперь возвышались странные сооружения. В уменьшенном виде — Спасская башня, мечеть с минаретами, английский Биг-Бен, американская Статуя Свободы. Строения празднично озарялись, над ними пробегали разноцветные сполохи, взлетали шутихи. Там шёл праздник, и Плотников порадовался этому многоцветному веселью, которое бушевало на месте недавнего пустыря. Странные сооружения были воздвигнуты по прихоти заезжего миллиардера Головинского, с которым Плотников всё ещё не был знаком. И это было упущением.

Городской центр, где жил губернатор, туманился фонарями после прошедшего ливня. Центральная улица сберегла множество ампирных особняков, великолепных колоннад, торговых подворий. Радениями реставраторов они превратили центр города в заповедник. Деревья вдоль тротуаров были оплетены хрустальными гирляндами, словно их усыпали бриллианты. Вечерняя молодая толпа празднично двигалась среди стеклянных деревьев, оседая в кафе, усаживаясь прямо на воздухе под влажными от дождя балдахинами. Льдистым потоком струились автомобили, и фары, полные белого огня, столбами отражались в мокром асфальте. Улица выходила к озеру, вокруг которого зеленел парк. В парке играла музыка, крутилось колесо обозрения с огненными спицами, вычерпывая из листвы разноцветные люльки. Через озеро, продолжая улицу, вёл пешеходный мост, уставленный фонарями, которые опрокидывались в воду золотыми веретенами.

Плотникова радовала красота губернской столицы, которую он украшал, как украшают витрину. Его новый фешенебельный дом находился в глубине квартала, заслонённый арками и колоннами старых торговых рядов. Теперь в них размещались дорогие бутики, были выставлены французские и итальянские костюмы, на чёрном сафьяне мерцали бриллианты. Дом губернатора

охранялся, гостеприимно растворились ворота, постовой в полицейской форме отдал честь.

Жена Валентина Григорьевна, Валя, встретила его рассеянным взглядом в гостиной. Она сидела в кожаном кресле, среди нарядного убранства, которое сама подбирала, радуясь новой великолепной квартире. Теперь же, в тёмном домашнем платье, небрежно облекавшем располневшее тело, она выглядела усталой и тусклой. Глаза не вспыхнули, как бывало, при появлении мужа. Плотников, боясь с ней встретиться взглядом, от порога стал говорить:

— Как я устал, Валя! Какой тяжёлый сумбурный день! Наш сталеплавильный магнат Ступин, задержка с пуском трубопрокатного цеха. А ведь это президентский проект! И ещё это Копалкино, ну, ты знаешь, там раньше был совхоз-миллионер. Теперь Закопалкино, люди совсем одичали. И ещё один священник блаженный, отец Виктор, Сталина хочет сделать святым. Но я в этом мало что понимаю. Это по твоей части. Люди, люди... От них устаёшь ужасно!

Он говорил торопливо, не глядя ей в глаза. Мучился оттого, что фальшивил. Раздражался, но не на себя, а на неё. Она вынуждала его лгать, заставляла мучиться. В этом была её вина перед ним. Он ловил себя на этой двойной неправде, и это увеличивало раздражение.

— Ты голоден? Ужин готов, — сказала жена.

— Да нет, десять обедов на день. Всякий хочет за стол усидеть. Какой уж там ужин!

Жена была рассеянна. Казалось, к чему-то прислушивалась в себе самой. Не улавливала в словах мужа фальши. И Плотников успокоился. Ждал, когда сможет пожелать жене “спокойной ночи” и отправиться спать в кабинет.

— Клавдия Константиновна звонила, просила помочь. У неё дачный участок хотят забрать, будто бы он не оформлен, — жена произнесла это тихо, вяло, глядя куда-то мимо Плотникова.

— Помогу, — сухо ответил Плотников. — Все твои подруги о чём-то просят. Пусть обратится к Притченко, я распоряжусь.

— Ещё Роза Яковлевна Зактрегер, директор музыкальной школы, просила, чтобы дали денег на ремонт классов. От потолка штукатурка отваливается.

— Да ведь я же её принимал! К сентябрю сдаём новую музыкальную школу, в которую выписали из Германии небольшой орган. Пусть потерпит до сентября и не сажает детей под аварийный потолок!

— Ещё поймал меня на улице Лаптев. Просил посодействовать, чтобы ты выделил ему под жилую застройку участка за озером. Хочет построить элитное жильё для иностранных специалистов, — жена передавала эти просьбы, к которым Плотников привык. Люди использовали жену, её доверчивость и отзывчивость для решения своих материальных нужд.

— Лаптев, говоришь? Лакомый кусочек отхватить хочет! Пусть освоит пустыри на болотах!осушит, проведёт дорогу, водопровод, газ и там строит своё элитное жильё! Губерния не станет оплачивать из своего кармана его фантазии! И прошу тебя, Валя, отсылай ты их всех ко мне, в порядке живой очереди! — Плотников сердился, но одновременно был рад тому, что жена не заметила его фальши. — Давай почивать!

Тихо, в туманной сладости, проплыло озеро с серебряной полосой от лодки. Деревья под ветром, похожие на огромных бушующих борцов. Роза, отяжелевшая от дождя. Хотелось уйти в кабинет и там, в темноте, засыпая, ещё раз пережить восхитительные мгновенья, увидеть обожаемое лицо.

— Спокойной ночи, Валя. Пора отдыхать, — он повернулся, собираясь уйти.

— Подожди. Я хотела тебе сказать.

— Что?

— Я больна. Врач Сергей Семёнович Куличкин провёл исследование и сказал, что я больна, и болезнь запущена.

— Как? Чем больна?

— Не хотела тебе говорить. Думала, обойдётся. Когда ездила в Оптину пустынь, молилась, и как будто стало полегче. Но теперь началось обострение.

— Неужели онкология?

— Да.

Плотников смотрел на жену, притихшую, печальную, покорную. В её тусклом голосе, в том, как она сутуло и безвольно сидит, в неряшливом платье и шлёпанцах, была обречённость. Плотников с ужасом видел, что в ней поселилось тёмное молчаливое чудище и медленно растёт, расплзается, занимает всё больше и больше места. Жена несёт в себе это безмолвное тёмное чудище, которое пускает в ней свои страшные отростки, не в силах ему сопротивляться, покорно ему отдаваясь...

— Но как? Почему молчала? Надо лечиться! Есть прекрасные врачи, лучшие клиники! Поедешь в Германию!

— Клавдия Константиновна хочет познакомить меня с одним человеком. Он лечит “живой водой”. У него есть лаборатория. Он изготавливает в ней “живую воду”. Опухоль рассасывается, даже самая запущенная.

— Дичь! Идиотизм! Колдуны, шарлатаны! Вместо того, чтобы обратиться к врачам, ты знаешь с церковными старухами и бессовестными шарлатанами!

— Не кричи на меня! Зачем ты на меня кричишь? — она заплакала. И он в порыве нежности, любви и бессилия шагнул к ней, обнял, прижал к груди её голову, чувствуя, как она вздрагивает, всхлипывает, прижимается к нему, как к последней опоре.

— Валя, родная, всё будет хорошо. Мы справимся.

Дверь в гостиную открылась, и появился сын Кирилл. Встревоженный, с круглым юношеским лицом, на котором сияли вопрошающие глаза.

— Мама, папа, что здесь происходит?

— Ничего, Кирюша, так, печаль набежала, — произнесла жена, отирая рукой слёзы. — Я пойду отдыхать, а вы посидите. На кухне есть ужин, — и она ушла, тяжело ступая.

Он был угнетён известием о болезни жены. Мучился тем, что лгал ей, больной и страдающей. И теперь, обнимая сына, искал в нём отраду, отрезался от дурных ощущений.

Десятнадцатилетний Кирилл учился в Оксфорде и приехал домой на каникулы. Его юношеская худоба и стройность, свежесть округлого лица, большие карие глаза под мягкими бровями, которые он унаследовал от матери, крепкий рот и большой открытый лоб, доставшиеся от отца, радовали взор. Кирилл был в том чудесном возрасте, когда душа выбирает путь и стремится сразу во все стороны, не ведая, какой путь главный.

Они стояли с Плотниковым у окна. Смотрели, как текут по проспекту огни, словно белые сосуды с огнём. Как крутится колесо обозрения с разноцветными спицами, похожее на расписную прялку. Как людно на мосту под фонарями, как множество золотых веретён отражаются в тёмной воде.

— Ну, что у тебя нового, сын? Как время проводишь?

— Встречался с одноклассниками. Знаешь, когда два года назад расставались, клялись каждый год встречаться, поддерживать дружбу. А теперь встретились, и говорить не о чем. У каждого своя жизнь, свои интересы. Сенька Черкашин по литературе одни пятёрки имел, его в писатели прочили, а он водит автобус, шоферит, о заработках печётся. Витька Цыплаков, который, ты помнишь, драку затеял, чуть в тюрьму не угодил, а теперь в Москве, в университете учится, на юриста. Андрюха Сырцов — в армии, где-то на Урале. А Вася Максюта, тихоня такой, рыбок разводил в аквариуме, он на Донбасс уехал, воюет, ранен был. А я, сынок губернаторский, в Оксфорде учусь. Меня друзья лордом дразнят.

— Мужчины дружат, если у них есть общие интересы и цели. Исчезают общие интересы, расходятся цели, и дружба врозь. Это женщины с детства и до самой смерти дружат. У них чувства сильнее разума.

Плотников смотрел на открытый лоб сына, над которым распушились лёгкие светлые волосы. Когда-то Плотников любил дуть на этот пушистый чубчик, дыхание щекотало сыну лоб, и тот смеялся.

— Конечно, папа, я тебе благодарен за Оксфорд. Мне интересно учиться. Там отличные парни. Я сдружился с канадцем Вилли, он сын известного банкира. И с индусом Чангом, он принц, из знатного рода. Но всё же я думаю, может быть, мне следовало остаться в России, здесь поступить в университет? Мои школьные дружки смотрят на меня чуть искоса, как на “белую косточку”, папенькиного сынка.

Плотников приобнял сына, чувствуя его юношескую стройность и гибкость. Сын, как стебель, тянулся вверх, утончаясь в талии, в шее, в плечах, исполненный хрупкой нежности.

— Ты послан мною в Оксфорд не на тёплое место. Учись, впитывай, узнавай, заводи знакомства. Библиотеки, театры, интеллектуальные кружки. Узнавай их дух, их культуру, их психологию. Они наши вечные соперники, вечные противники. Они снова придут к нам, как приходил Стефан Баторий, Наполеон или Гитлер. Ты послан в стан противника, и должен его изучать, пока он не двинул на нас свои дивизии и эскадрильи.

Плотников наставлял сына, давал ему задание, встраивал в свои замыслы. Между ним и Кириллом была связь, подобная световоду, по которому от отца к сыну лилась невидимая сила, родовая заповедь, упование на их неразрывные, одна другую продолжавшие судьбы.

— Окончишь Оксфорд, поступишь в корпорацию. Пусть вначале на самую скромную должность. И там учись, и там узнавай. У них есть тайны, которые они не открывают миру. Есть секреты, которые держат за семью замками. Не чертежи самолётов и кораблей, а чертежи своей цивилизации, которая обладает огромной мощностью, огромной созидательной или разрушительной силой. Узнай, как устроена их цивилизация, в чём её тайный код, где игла, на конце которой таится её гибель. Привези эти секреты в Россию.

Плотников вёл сына, давая направление его росту, его интересам, занимаясь его становлением с тех ранних чудесных дней, когда они шли по горячему лугу, наклонялись над цветущими ромашками, колокольчиками, резными пахучими травами, и Плотников учил сына названиям цветов, и тот собирал свой первый гербарий. А тёмной бархатной ночью, когда над крышей деревенской избы горели созвездия, оба они, запрокинув голову, смотрели до головокружения на сверкающее мироздание, и сын запоминал названия звёзд. Сын был любимым созданием, которое сотворял Плотников. Был проектом, который он задумал и все годы тщательно воплощал. Указывал сыну книги, которые тот должен читать, фильмы, которые он должен смотреть, идеи, которые он должен исповедовать. И сын послушно и благодарно следовал его наставлениям.

— Мы отстали от Запада, трагически отстали. Десяток лет разрушали себя, повинувшись злой воле. Проводили вредоносные реформы, которыми заразили нас, как заражают чумой. Мы теряли заводы, учёных, изобретателей. Теряли самый главный ресурс — историческое время. Теперь мы накануне рывка. Россия созрела для рывка. Мы вырвемся из капкана, куда нас затолкали, и начнём стремительно развиваться. Нам понадобится западный опыт. Потребуется не только их промышленные технологии, но технологии управления заводами и корпорациями, технологии управления историческим временем. Для этого нам нужны люди, знающие их секреты. Молодые, блестяще оснащённые знаниями, окончившие Оксфорд и Гарвард, Кембридж и Бостон. Поработавшие в их корпорациях, знатоки их политики и культуры. Ты — один из них. Тебя ждёт Россия. Не я, а Россия послала тебя в Оксфорд.

Путь, на который Плотников ставил сына, был опасен. Впереди предстояла жестокая схватка, встреча с ненавидящими врагами, с лукавыми предателями. Его ожидали неудачи, опустошённость, минуты уныния. И Плотников, обнимая сына, передавал ему свою бодрость, мудрость, веру в неизбежность Победы.

— Я буду ждать, сынок, твоего возвращения в Россию. Мне сулят большие перемены, новые роли. Я знаю, как совершить долгожданный рывок. Мне нужны помощники, нужны сподвижники. И ты один из них. Это счастье, когда сын и отец заняты единым делом, живут одной мечтой, стоят плечом к плечу!

Плотников заглянул сыну в сияющие глаза. Дунул на белый открытый лоб, сдувая пушистый хохолок.

— Я горжусь тобой, папа, — сказал Кирилл, прощаясь с ним перед сном.

Ночью Плотникову снился ливень, в котором туманно краснели розы. Сверкающий след на озере, оставленный лодкой. Икона, на которой, скрестив руки, стоял генерал-мученик, превращённый в стеклянную глыбу. В спальне по соседству спала жена, и в ней шевелилось, разрасталось чёрное чудище, протягивая свои щупальца во все части её бессильного тела. Плотников просыпался в страхе, чувствуя, как сердце наполняется болью и начинает болезненно ухать. И снова прятался в сон, в ливень, в кипящие деревья, в тяжёлый, полный воды цветок.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Лев Яковлевич Головинский слыл миллиардером. Он явился два года назад и зажил широко и пышно, как может жить баснословный богач, не считающий деньги. Он купил руину в центре города, наводившую уныние на приезжих и служившую вечной укоризной нерасторопным городским властям. И на месте этой руины построил усадьбу в стиле ампира, копию тех дворцов, которыми владели Голицыны или Шереметьевы, с белоснежными колоннами, высоким фронтоном, с хозяйственными службами, подобными тем, в которых именитые владельцы держали прислугу, кареты, конюшни и псарни. Головинский открыл в городе два ювелирных магазина с драгоценными витринами. На чёрном сафьяне сверкали золотые украшения, переливались бриллианты, диадемы и браслеты, выполненные знаменитыми ювелирами Италии и Франции. Говорили, что его основное богатство находилось в Амстердаме, куда стекались алмазы со всего мира, превращаясь в руках искусных гранильщиков в несравненные бриллианты. Никто не мог объяснить, почему Головинский, “человек мира”, внесённый в список “Форбс”, выбрал для проживания здешнюю губернию. Спрос на бриллианты был здесь сравнительно невелик. Общество не блистало обилием кинозвёзд и знаменитостей, среди которых вращаются миллиардеры. Тем не менее, он зажил на широкую ногу, открыто и пышно, изумляя обитателей города своими необычными затеями.

В гараже, напоминающем каретный флигель, у него хранилось несколько раритетных автомобилей, и среди них “Хорьх” и “Мерседес”, на которых развезжал Гитлер. Говорили, что Головинский однажды сел в заповедный “Мерседес”, нарядившись в форму нациста, и совершил поездку по губернии, останавливаясь у памятников погибшим воинам. Из автомобиля будто бы раздавались звуки нацистских маршей, а из бетонных памятников слышались рыдания.

Ещё одну необычайную выходку, смутившую горожан, приписывали Головинскому. Осенью, в “День национального примирения и единства”, когда город был разукрашен флагами, а по центру двигалось патриотическое шествие, возглавляемое губернатором Плотниковым, сотня молодых людей размалевала лица, обрядилась в рубища, отправилась на городское кладбище и там отметила “Праздник Смерти”. Молодые люди напяливали на могильные кресты рваные рубахи и куртки, нахлобучивали на них старые шляпы и шапки, так что казалось, что из могил поднялись мертвецы. Молодёжь танцевала на могилах, занималась любовью и завершила праздник, избрав “Мисс Смерть”. Красивую молодую женщину, обнажённую, окружённую свечами и фонариками, водили среди могил и обсыпали землей. Скандал был ужасный, Головинского вызывали на допрос, но его причастность к кошмарному действию осталась не доказанной.

Ещё одно удивительное начинание закрепило за миллиардером репутацию опасного выдумщика и возмутителя городского спокойствия. Он задумал провести в губернской столице всемирный съезд колдунов и ведьм. Со всего мира стали съезжаться маги, волшебники, шаманы и чародеи. Африканские

колдуны, украшенные амулетами из львиных клыков, воскрешали покойников. Мексиканские ведуньи, вращая огненными глазами, наводили и снимали порчу. Якутские шаманы, грохоча бубнами, вызывали дождь. Маги из Калифорнии, уважаемые господа в цилиндрах и галстуках-бабочках, останавливали вращенье земли. Врачеватели с Борнео без скальпеля и пинцета вынимали у пациента слепнувший глаз, промывали его в травяном настое и возвращали в глазницу, после чего слепец прозревал.

Головинский выкупил часть рыночных рядов, отдал прилавки волшебникам, и те торговали магическими пирамидками, обезьяньими лапками, сморщенными, лишёнными костей человеческими головками, баночками с целебными мазями и эликсирами. Полгорода перебивало на рынке, после чего врачи зафиксировали множественные случаи сумасшествия и учатившиеся самоубийства. А когда колдуны разъехались по своим континентам, в городе объявились их последователи из местных экстрасенсов и гадалок, продолжая торговать амулетами, совиными лапками и книжками о переселении душ. Храмы почти опустели, и местный владыка Серафим подал на Головинского жалобу в правоохранительные органы, но делу не дали ход, ограничившись запретом на торговлю кошачьей мочой и трупиками мышшей.

Головинский, между тем, показывался на публике, доброжелательный, весёлый, гораздый на шалости и театральные выходки. Ему было под пятьдесят. Лицо его выглядело продолговатым, с заострённым подбородком, жёсткие кудрявые волосы отливали металлической сединой. Нос был странной волнообразной формы, словно от переносицы двигалась волна пылливой энергии, скапливаясь на кончике носа жалиющим пузырьком. Глаза были большие, влажные, то задумчивые, то ироничные, и иногда вдруг покрывались млечной поволокой, словно на них напылали бельма. И тогда Головинский беспомощно, вяло качал головой, как слепая лошадь. И вдруг сквозь эту лунную муть сверкала чёрно-золотая молния, и глаза распахивались, озарялись тёмным наслаждением и восторгом.

К числу его причуд можно было отнести строительство фантастического комплекса, который возник на въезде в город, на месте гнилого болота. Болото осушили, навезли грунт, вбили сваи, и возникли экзотические сооружения, поражавшие воображение горожан.

Здесь была Спасская башня из кирпича с золотыми курантами и красной звездой — уменьшенная копия московской, повторяющая всю её белокаменную вязь, всё стрелчатое стремление ввысь. С ней соперничала Эйфелева башня, стройная, кружевная, из сияющей нержавеющей стали. Рядом с обеими башнями находился фрагмент Великой Китайской стены и пагода с черепичной кровлей, драконами, беломраморными львами у входа. Тут же, ажурное, с витражами и готическими арками, разместилось Вестминстерское аббатство, знаменитая башня с часами Биг-Бен и миниатюрные статуи Кромвеля и короля Ричарда Львиное Сердце. Американская Статуя Свободы, казалось, была перенесена прямо с Гудзона, лишь уменьшенная, но с тем же факелом и лучистым венцом. И, наконец, великолепная зеркальная мечеть из иранского город Кум высила свои минареты, крутнула бирюзовые купола.

Все эти сооружения были соединены стеклянными галереями. Во всех сооружениях, включая стацию Свободы, располагались рестораны, гостиницы, конференц-залы, выставочные помещения, боулинги и гольф-клубы. И весь этот фантастический ансамбль назывался Глобал-Сити, ночами озарялся неугасающей иллюминацией, напоминавшей пылающий бриллиант.

Именно здесь, в Глобал-Сити, после его открытия Головинский созвал пресс-конференцию журналистов, телеведущих, блогеров и держателей сайтов.

Мерцали телекамеры, тянулись к подиуму микрофоны, кресла были заняты пишущей публикой. На подиуме появился пресс-секретарь Головинского Пётр Васильевич Луньков, слышавший плейбоем. Слегка развязный, в великоленном костюме, с часами “Ролекс”, с хохочущими голубыми глазами, он произнёс:

— Благодарим, господа, за то, что вы откликнулись на наше приглашение. Лев Яковлевич Головинский, открывая Глобал-Сити, хотел бы объяснить с журналистами и ответить на все, даже самые интимные вопросы.

Открытость — вот черта Головинского. Уважение или, более того, великое почтение к профессии журналиста побуждает Головинского способствовать свободе слова, развивать открытое общество. Вы можете рассчитывать на его помощь, на щедрые пожертвования, на открытие новых печатных и электронных изданий. Не хочу отнимать у вас время, господа. Общайтесь с героем нашей пресс-конференции, и вы получите наслаждение! — Луньков, блеснув золотом часов, повернулся на каблуках, приглашая на подиум Льва Яковлевича Головинского.

Головинский вышел широким шагом, улыбаясь, как выходят к публике любимые актеры. От него исходило здоровье, бодрость, радушие. Он был в белоснежном костюме, в чёрной косоворотке, на стоячем воротнике которой струился тонкий алый орнамент. На шее Головинского висела серебряная цепочка с круглым амулетом, на котором были изображены два дерущихся зверя: медведь и лев.

— Прекрасно выглядите, господа! Глобал-Сити приветствует вас! Мы находимся в недрах Великой Китайской стены, и после пресс-конференции вы сможете отведать деликатесы китайской кухни. За счёт компании Глобал Сити! — Головинский сделал жест, каким фокусник сбрасывает с таинственной вазы платок, когда оттуда вылетают голуби.

Представители прессы захлопали и заулыбались.

— Я живу в этом замечательном городе почти два года. Читаю газеты, смотрю телевидение, восхищаюсь остротой и едкостью блогов. Но только теперь решился предстать перед элитой губернии, к которой я отношу журналистов.

Эта лесь понравилась журналистам, они вольнее расположились в креслах, кто-то писал, кто-то протягивал микрофон.

— За время моего жительства, я знаю, вокруг меня создано немало мифов, распространяются слухи и домыслы. И я решил развеять таинственность вокруг моей персоны и ответить на все ваши вопросы, даже на самые неожиданные. Я член сообщества, дорожу этим членством и хочу, чтобы общество приняло меня. Ваши вопросы, господа!

Он слегка развёл руки, открывая грудь, приглашая вонзить в неё стрелы самых острых и беспощадных суждений.

— Господин Головинский, я представляю независимую губернскую газету “Обозреватель”. Моя фамилия Ручейков. Позвольте задать вопрос, — вопрошавший журналист хотел казаться вольным, вальяжным, ровней миллиардеру. Он был слегка горбат. Горб холмиком возвышался за его плечами, словно там были сложены недоразвитые крылья. Его лицо было иссушено недугами, едкой иронией и слегка подёргивалось, словно он своим нервным тиком хотел согнать невидимую муху. — Что значат все эти архитектурные поделки, которые вы собрали в свой Глобал-Сити? Это напоминает Диснейленд и граничит с безвкусицей.

— Благодарю за интересный вопрос, — Головинский ослепительно улыбнулся, направляя на едкого горбуна лучи обаяния и симпатии. — Глобал-Сити — не парк развлечений и аттракционов, не Диснейленд. Это центр управления миром, средоточие магических энергий, способных воздействовать на мировую историю. Звезда Спасской башни — это магический кристалл, выпрямляющий изгибы и выверты Русской истории, направляющий её в русло общечеловеческих ценностей. Китайская стена останавливает распространение Китайской мечты, которая грозит китаизацией всего человечества. Эйфелева башня — антенна, рассеивающая по миру идеалы Великой французской революции с её принципами Свободы, Равенства и Братства. Зеркальная мечеть из иранского города Кум укрощает неистовых “стражей исламской революции”, препятствует распространению халифата. Вестминстерское аббатство устанавливает связь с тайными англосаксонскими обществами и древней европейской аристократией. А Статуя Свободы сочетает нас с мессианской идеей Америки, с “Градом на холме”, который и есть, в своей сущности, Глобал-Сити.

Головинский говорил с Ручейковым, как с равным и посвящённым, полагаясь на его эрудицию, видя в нём единомышленника. И едкое пергамент-

ное лицо горбуна исполнилось благодарности, в нём на краткое время исчез изнурительный тик.

— Я — Татьяна Валдайская, представляю радиостанцию “Свежий ключ”, — немолодая, с ярким маникюром женщина, кокетливо и смело выставив голое плечо, давала понять, что встреча с миллиардером не мешает ей оставаться вольной и небрежной, такой, какой подобает быть представительнице свободной журналистики. — Лев Яковлевич, а что, скажите на милость, привело вас в нашу губернию? Вы бы могли жить на Лазурном берегу или в Палм-бич. Но вы поселились у нас, в довольно обыденном месте.

— Это место уже не обыденно, если в нём обитают такие обольстительные женщины. — Головинский посмотрел на голое плечо Валдайской, словно огладил его. — Ваша, а теперь уже наша губерния находится в центре могучих силовых линий, на перекрестье которых должны случиться события, меняющие облик мира. Здесь должен родиться Человек-Солнце. Он выведет человечество из тьмы, куда оно забрело под воздействием мрачных религий и культов. Здесь родится солнечная религия, единая для всех людей мира. И я хочу приветствовать этого великого человека, отвлечь от него беды и злые усилия желающих ему погибели. Надеюсь найти в вас союзницу. Быть может, вы первая преподнесёте ему воду из вашего “Свежего ключа”.

Валдайская кивнула, заключая союз с Головинским, и на её стареющем лице появился румянец былой красоты.

— А как вам наш губернатор? Он и плотник, и большой работник. Часом, не встречались? — этот вопрос задал блогер по прозвищу “Клёвый”. Долговязый, с гребнем торчащих волос, отливающих зелёным и красным, с круглыми птичьими глазами, он был похож на петуха.

— Ку-ка-ре-ку! — смешно прокричал Головинский, ударив себя руками по бёдрам, как петух бьёт себя крыльями, желая взлететь на забор. Все засмеялись, и первым загоготал сам Клёвый. — С губернатором Иваном Митрофановичем Плотниковым не имел чести встречаться. Но, как сказала перуанская прорицательница Миранда, духи тьмы насыщают его кровь ядами лунных пауков, и его укусы смертельны. Он послан сюда духами Луны, чтобы ужалить Человека-Солнце и умертвить его. Здесь, в нашей губернии предстоит сражение Луны и Солнца, и нам предстоит выбрать одно из этих светил.

Головинский говорил всё это с хохочущими глазами, но некоторые из журналистов стали ежиться, словно по залу пробежал ледяной сквознячок.

— А что значат ваши пристрастия к разного рода колдуньям и ведьмам? Наш владыка Серафим назвал вас опасным магом, — бритый наголо, с голубоватой жилой на черепе, блогер по прозвищу “Кант” поправил очки с двойными линзами, сквозь которые смотрели водянистые рыбы глаза. — Вы действительно маг?

— Губернатор Плотников заполнил всю губернию заводами. Плавильные печи, производство автомобилей, оружия, медикаментов, телевизоров. Насилует материю, сжигает газ, изнуряет природу и человека. Мы же управляем не материей, а духом. Перемещаемся со скоростью света. Перелетаем из будущего в прошлое. Убиваем импульсом воли. Воскрешаем вспышкой вдохновения. Видим то, что ещё не случилось. Волшебной энергией питаем человеческую плоть, которая обходится без “хлеба насущного”. Человек-Солнце, о котором я говорил, родится не от женщины, а из пучка бестелесных лучей. Старомодный владыка Серафим запечатан в стенах храма, куда не залетают энергии мира. Среди архитектуры Глобал-Сити я воздвигну храм новой веры, и у этого храма не будет стен, а только прозрачные радуги.

Журналисты не понимали, смеётся над ними миллиардер или он пребывает в безумии. Некоторые раскрыли компьютеры и посылали в блогосферу сообщения, похожие на истошные вопли. Другие заворожено внимали, и гребень на голове у Клёвого переливался всеми цветами радуги.

Задал вопрос ведущий частной телекомпании “Карусель”, по прозвищу “Ласковый”. Он имел округлое, не знавшее бритвы лицо, томный, обволакивающий взор, полное сдобное тело и руки с ухоженными длинными пальцами, которыми он любовался.

— Губернатор Плотников трижды отказывал нашему гей-сообществу в проведении парадов. Какое-то brutальное постоянство! Как вы, дорогой господин Головинский, относитесь к проблеме сексуальных меньшинств? — Сказав это, Ласковский отвёл руку и стал любоваться своими ногтями, покрытыми розовым лаком.

— Это очень важный вопрос, стоящий в центре современной цивилизации. Всё архаическое, затхлое, деспотическое стремится остановить приближение новых времён: нового искусства, новой науки, новой философии. Человечество восстало против навязанного ему изнурительного разделения на мужчин и женщин, против диктатуры природного своеволия. Геи — лучшие из нас, они посмели восстать против ветхого Бога и совершают рывок в царство будущего. Им дано почувствовать то, что недоступно обычным людям. Они талантливы, сверхчувственны, прозорливы. Они, благодаря своей исключительности, создают невиданную литературу, пишут фантастические картины, играют небывалые спектакли. Им открывается будущее, и они добывают из этого будущего для нас, простых смертных, драгоценные открытия. А мы в своей тупой жестокости вместо того, чтобы беречь их, лелеять, травить их, мучаем, гоним. Прометей, добывший людям огонь, был геем. Коперник, открывший симфонию планет, был геем. Колумб, приплывший в Америку, был геем. Вы хотите запретить гей-парады, так запретите Америку! Запретите огонь! Должно быть, этого и добивается губернатор Плотников!

Сразу несколько присутствующих журналистов заплотировали, а Ласковый, сжав сочный бутончик губ, послал Головинскому воздушный поцелуй.

Пресс-секретарь Луныков, как капельмейстер, взмахивал рукой с блеском золотых часов. Поднимал то одного, то другого журналиста. Головинский жонглировал ответами, то становился серьёзным и вдохновенным, то шутивным и милым. Его ответы были фантастическими. Журналистам казалось, что их пригласили на спектакль “одного актёра”, и все суждения Головинского — это розыгрыш и насмешка. Но вдруг случались галлюцинации, и пространство зала начинало сворачиваться в свиток, рождая первобытный ужас. А время теряло свою неосязаемую протяженность, густело и начинало течь, как жидкое стекло. И тогда журналисты начинали догадываться, что перед ними гипнолизер и чародей.

— Позвольте вопрос, Лев Яковлевич, — поднялся Курдюков, издатель жёлтого листка “Все грани” — тучный, неряшливый, с салными волосами, словно он носил овечий парик. — А правда ли, что недавно на охоте вы застрелили медведицу и двух её медвежат? Вам не жалко?

— Медведь — это образ дремучей России, её сумрачного разума, её берложьей истории, куда она спряталась от мира и рычит на всё человечество. Тотемный зверь русского народа из мрачного медведя преобразится в солнечного льва. Это была не охота, а магическое действие, — Головинский, став суровым и бесшощадным, тронул медальон на груди, где, поднявшись на задние лапы, схватились лев и медведь.

— Последний вопрос, господа! Самый последний! — Луныков оглядывал зал, из которого тянулись руки. — Вот вы, прелестная дева, пожалуйста!

— Меня зовут Паола Велеш. Я представляю интернет-издание “Логотип”. У меня к вам вопрос. — Молодая женщина и впрямь была прелестна. Её лицо переливалось множеством мгновенно возникавших всплесков самых разнообразных чувств: верой в свою неотражимость, смелой дерзостью непонятной души, наивной открытостью, детской незащищённостью и той пленительной женственностью, которая туманит мужской обожающий взгляд, увлекающая влюблённого в сладостное помрачение. Так переливается драгоценный камень, на который падает солнце.

Её чёрные, словно стеклянные волосы отливали лучистым блеском. Хотелось погрузить в них ладони и смотреть, как волосы скользят и струятся меж пальцев. Её глаза под длинными бровями были тёмно-лиловыми, с золотой искрой, какая загорается вдруг иногда на ягоде чёрной смородины. Её тонкий нос, чуть заострённый подбородок, пунцовые губы волновали своей изысканной соразмерностью. И хотелось издали целовать их, видя, как на лице загораются и гаснут воздушные поцелуи. На её открытой высокой шее

тонко золотилась цепочка, под прозрачной тканью летнего платья чуть просвечивала девичья грудь.

— Скажите, господин Головинский, вам везёт в любви?

Миллиардер, минуту назад ироничный и воодушевлённый, вдруг замер. Его нос, волнообразный, с горбинкой и заострённым концом, побледнел от переносицы до ноздрей, которые беспомощно трепетали, словно ему не хватало воздуха. Большие, вишнёвого цвета глаза внезапно наполнились мутью, словно на них накатили бельма. И весь он застыл, словно его насадили на острую спицу. Только кисти рук мучительно вздрагивали.

Это продолжалось мгновение. Из глаз ударили ослепительные серебряные молнии. Из ноздрей полыхнул прозрачный голубоватый огонь. Нос затрепетал, словно по нему побежала волна энергии. Преображённый, исполненный яростной силы, Головинский обратил к молодой женщине восторженный взгляд:

— Я ждал от вас, Паола, этого вопроса. Вам ли не знать, что такое любовь? Любовь — это смерть. Вы — “Мисс Смерть”, самая прекрасная из смертей. Ведь это вы, белоснежная, под осенней луной, ступали среди могил, касаясь голой стопой истлевшей земли. Вас осыпали прахом восторженные поклонники, требуя от вас любви, готовые заплатить за неё своей смертью. Когда кончаются ласки, и приближается последнее безумие, в смертельной сладости, в ослепительном озарении открывается Божье око, и ты влетаешь в него, как влетаешь в смерть. На мгновение, перед смертью, ты постигаешь все концы и начала, сотворение мира и его неизбежный конец. Большого я не могу вам сказать. Теперь судите, счастлив ли я в любви.

Головинский покинул подиум. Его место занял пресс-секретарь Луньков. В руках у него был серебряный поднос, на котором лежали конверты.

— Пресс-конференция закончена, господа.

Лев Яковлевич на память о встрече и в знак благодарности делает каждому из вас подношение, которое вы используете по своему усмотрению.

Он стал обходить журналистов, и те брали с подноса конверты. Ручейков бережно, с поклоном, засунул конверт в карман. Валдайская кокетливо сунула конверт за корсаж. Клёвый подбросил увесистый конверт, поймал, понюхал и со смехом сунул в сумку. Ласковый поцеловал конверт и опустил его куда-то вниз живота.

Передавая конверт Паоле Велеш, Луньков произнёс:

— А вас, обольстительная Паола, Лев Яковлевич приглашает пообедать в узком кругу друзей. Обед состоится в зеркальной мечети, уже теперь, через полчаса.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Глобал-Сити был переполнен людьми. Народ истосковался в пресной провинции по развлечениям, по блеску реклам, сверканью витрин, аттракционам и зрелищам, завезённым из Диснейленда или самого Лас-Вегаса. На открытых эстрадах среди фантастических сооружений выступали полуобнажённые танцовщицы. Канатоходцы балансировали на тонких струнах, протянутых от Спасской к Эйфелевой башне. Клоуны на ходулях перемещались среди толпы. Факиры глотали и изрыгали огонь. Толпа ахала, восторженно редела, поглощала “сладкую вату” и попкорн.

Рестораны поражали воображение зажиточных горожан, которые семьями посещали Эйфелеву башню с деликатесами французской кухни. Заказывали устриц, лягушек, садовых улиток, средиземноморских осьминогов. И прежде чем всё это поглотить, фотографировали на айфоны и тут же посылали в “Фейсбук”, соперничая с теми, кто в это же время в Спасской башне лакомился дарами русской кухни. Свежей осетриной, пельменями из оленьего мяса, медвежатиной, которую, как говорили, поставил к столу загадочный и всемогущий строитель праздника, миллиардер Лев Головинский.

Гуляющей толпе предлагались затейливые игры и аттракционы. Среди них особенно красочными и забавными были те, что демонстрировали различные виды казней, распространённых в той или иной стране.

Перед Спасской башней был возведён эшафот. На нём стояла плаха. Манекен в белой рубашке положил голову на плаху. И любой посетитель мог взять топор, рубануть по голой жилистой шее и отсечь голову. Пластмассовая голова отскакивала, но из обрубка шеи тут же выскакивала новая голова, и казнь повторялась.

Перед китайской пагодой высилась каменная стенка. Перед ней на цепях висело бревно, на котором лежал связанный человек. Участник аттракциона подходил к тяжёлому бревну и начинал медленно раскачивать. Бревно, поскрипывая цепями, неохотно приближалось к стенке. Расстояние между стенкой и черепом привязанного человека постепенно уменьшалось, пока голова не ударялась о камень и не раскалывалась, как горшок. Когда бревно переставало раскачиваться, вместо разбитой головы отрастала новая. И аттракцион продолжался.

Перед Эйфелевой башней стояла гильотина. Голова приговорённого к смерти была зажата колодкой. Участник игры нажимал на рычаг. Нож гильотины со свистом рушился, отсекал голову, которая падала в плетёную корзину. И на месте отсечённой вырастала новая голова.

Возле мечети, согласно закону шариата, провинившегося забивали камнями. У Вестминстерского аббатства преступника вешали. У Статуи Свободы приговорённого поджаривали на электрическом стуле. Но всякий раз манекен возрождался, позволяя продолжать потеху.

У каждого аттракциона толпились люди, нетерпеливо ожидая своей очереди. Дети хлопали в ладоши. Матери поднимали их на руки, чтоб тем была видна забава. Мужчина с накаченными бицепсами молодежато подошёл к плахе и браво схватился за топор. Другой силач, пыхтя, раскачивали бревно. А какая-то немолодая грудастая женщина, засучив рукава, ловко метала камни в голову нарушителя исламской нравственности.

Пьяненький мужичок в мятой кепке переходил от одного аттракциона к другому, посмеивался, пританцовывал. И вдруг, увидев, как с плахи летит очередная пластмассовая голова, воскликнул:

— Эй, ядрёна вошь! Да ведь это башка губернатора! Потеха! Сколько ни руби, у него башка отрастает!

И рубивший голову парень всмотрелся в лицо манекена, помялся, а потом всади в пластмассовую шею топор.

Пока на воздухе кипело гулянье, в зеркальной мечети, точной копии той, что воздвигнута в Иране, в священном городе Кум, собрались гости. Сами себя с лёгкой иронией они называли “демократическим подпольем”. Это были представители оппозиции, не согласной с политикой губернатора.

Хозяин вечеринки Лев Яковлевич Головинский задерживался, и гости, поглядывая на обеденный стол, отражаясь в зеркальных стенах, беседовали.

— А правда ли, Николая, что губернатор Плотников запретил ваше выступление во Дворце культуры? И всё потому, что вы дали концерт на Украине, в районах, отбитых у этих донецких бандитов? — местный правозащитник Разумников, член общества “Мемориал”, обратился с вопросом к рок-звезде, саксофонисту Николаю Боровичу. Тот, скаля зубы, рассматривал своё отражение в зеркальной стене. У Разумникова было голубоватое мясистое лицо, гулкий, резонирующий нос; седая бородка и лысый череп, вокруг которого сохранились пепельные кудряшки, дополнявшие его портрет. — Ведь это беспредел какой-то!

Музыкант Борович шевелил толстыми, намятыми саксофоном губами, рассматривая в зеркале свои жёлтые лошадиные зубы.

— Я думаю, мне теперь не дадут здесь играть, — ответил музыкант. — Пора валить из России. Все порядочные люди уезжают. Остаются дураки и подлецы.

— Но ведь кто-то должен бороться с деспотизмом! — правозащитник обиделся на то, что его причисляют либо к дуракам, либо к подлецам. — Кто-то должен жертвовать собой!

— Вот я и пожертвовал. Дал концерт в гарнизоне украинских военных, прямо среди развалин. У меня нет гранатомёта, а только саксофон, но он тоже стреляет. Прямо с концерта солдаты пошли в атаку и отбили ещё один

населённый пункт. Эти оборванцы в казачьих папахах разбежались, услышав мой саксофон. Я напутствовал их словами: “Добейте гадину!” А теперь вот Плотников добивает меня! Валить, валить!

— Давайте начнём сбор подписей! В защиту свободы высказываний! В защиту современного искусства! А то попы совсем обнаглели! Из всех углов лезет поповщина! — лидер местных либералов Орхидеев картинно потрянул шевелюрой, блеснул очками, как он это всегда делал на демократических митингах, призывая голосовать за свою партию. — Вы слышали, неподалёку от Копалкина есть приход с безумным попом, который повесил иконы со Сталиным. Сталин *святой*, душегуб с нимбом! Говорят, наш губернатор приезжает в эту церковь и молится перед иконой Сталина. Сталинизм под колокольные звоны!

— Что вы удивляетесь! — Шамкин, хрупкий молодой человек с выпуклыми испуганными глазами и тонкой незащитной шеей, возглавлял местных антифашистов, и на него недавно было совершено нападение. — Наш губернатор зазывает к себе террористов с Донбасса, лечит их, тренирует и отправляет обратно в Донбасс, где они продолжают убивать и насиловать. Мы хотим провести молодёжный митинг: “Нет империи! Нет фашизму!” Мы очень надеемся, что вы, Николай, придёте к нам на митинг со своим золотым саксофоном, — Шамкин благоговейно посмотрел на своего кумира, рок-музыканта.

— Нам нужно объединить усилия, сомкнуть, как говорится, ряды, — эколог Лаврентьев, представитель “Гринпис”, был известен своей борьбой с индустриализацией области, которую проводил губернатор. — Плотников застроил нашу губернию заводами, на которых производится Бог знает какая продукция. В реках и озерах исчезает рыба. В лесах массовый мор птиц. Грибы отравлены. Радиоактивный фон превышен вдвое. Какую судьбу Плотников готовит нашим детям? Своего-то сынка отправил на жительство в Англию!

— Вот увидите, — правозащитник Разумников покачал головой, — так долго продолжаться не может. Когда-нибудь рванёт. Не здесь, так в Москве. Не в Москве, так в Питере. Уроки русских революций нашу власть ничему не учат.

— Скорей бы уж рвануло, чтобы дерьмо полетело во все стороны, — сказал музыкант Борович. — Только бы успеть свалить из этой долбаной страны!

— А что же вы, сударыня, всё молчите? Мы вас совсем не знаем, — эколог Лаврентьев, галантно, с манерами старого ухажёра обратился к Паоле Велеш, которая, сияя своим матовым прекрасным лицом, чуть улыбалась пунцовым ртом. — Хотелось бы знать, кто вы? Мы могли с вами где-то встретаться?

— Ночью на кладбище. Вы там брали пробы могильного грунта, — с милой улыбкой ответила Паола, повергнув эколога в смущение.

Головинский вошёл внезапно, стремительный, то ли гневно, то ли вдохновенно блестя глазами. Луньков попевал за ним, борясь с вихрем, который оставлял за собой Головинский.

— Господа, прошу садиться. Разговор предстоит доверительный, переводящий нашу дружбу в деловые отношения.

Все уселись, окружённые зеркалами. Обеденный стол, ещё без яств, был уставлен дорогим восточным фарфором. Паола смотрела на Головинского, не узнавая в нём игривого, очаровательного шутника, который развлекал журналистов своими искромётными фантазиями. Теперь это был жёсткий, почти жестокий властелин, не терпящий возражений. И эта жестокая сила и деспотизм пугали и влекли Паолу.

— Положение в стране, господа, ухудшается с каждым часом. Кризис и остановка производств. Крым, Донбасс, Ближний Восток и вражда с Западом. Собачья грызня элит и заговор против президента. Всё это стремительно сходится в одну точку и сулит взрыв. Повторяется семнадцатый год, повторяется девяносто первый.

— Пусть взрывается! — произнёс музыкант Борович, скаля жёлтые зубы. — А я буду играть на саксофоне, как играл в девяносто первом!

Головинский строго взглянул на рок-звезду и продолжал:

— Президент мечется, чувствует себя в западне. Уже никому не верит из своих приближённых. В панике будет срезать головы. Искать людей на стороне. Замышляет “новый курс”. Всё это, как вы понимаете, грозит катастрофой.

— Он кончит, как кончил Каддафи. Черенком от лопаты, — правозащитник Разумников злорадно забарабанил пальцами по столу, словно сопровождал барабаном ужасную казнь диктатора.

— Вы не понимаете остроты положения, — осадил его Головинский. — “Новый курс” означает крутой разворот русской истории из будущего, о котором мы с вами мечтали, в прошлое, от которого с ужасом убежали. “Новый курс” — это возрождение империи, война в Прибалтике, в Казахстане, в Молдавии, в самой Европе. Это возрождение сталинизма в его самых жестоких формах. Следующая наша встреча может случиться не в этой зеркальной мечети, а в арестантском вагоне, идущем в Забайкалье на урановые рудники.

— Там заключённый погибает через три месяца от рака крови, — мрачно заметил эколог Лаврентьев.

Паола слушала, не понимая смысла пугающих слов. Не знала, зачем её пригласил этот властный, с молниеносным взглядом человек. Зеркальная стена хватала её отражение, передавала другой стене. Та подбрасывала его к потолку, бросала вниз, в зеркальную бездну. Ей казалось, она превращается в стеклянный взрыв, зеркала разрывают её на части и разбрасывают в разные стороны, в бесконечность.

— У меня есть конфиденциальные сведения из кремлёвских кругов, — Головинский медленно обвёл взглядом гостей, заглядывая каждому в глаза, и от этого пронзительного взгляда глаза останавливались, превращаясь в лед. — У меня есть точные сведения, что губернатора Плотникова готовят к переводу в Москву. Он становится премьер-министром, и ему поручают осуществление “Нового курса”.

— Слава Богу, отдохнём от него, — либерал Орхидеев, ожидая услышать ужасную весть, теперь с облегчением вздохнул. — Как говорится, *баба с возу!*..

— К сожалению, вы меня не услышали, — презрительно произнёс Головинский. — Вы, либералы, не слышите гулов истории. И поэтому никогда не возьмёте власть. Повторяю, Плотникова переводят в Москву, и ему отводится роль Столыгина, спасающего трон от революции. Но он не Столыгин, он Сталин. Его “Новый курс” означает ГУЛАГ и миллионы узников, осуществляющих насильственную индустриализацию. Он маньяк индустриализации любой ценой. Конец частной собственности! Конец свободе! Конец искусству и культуре! Марширующие батальоны! Ревущие танки и самолёты! Подводные лодки, носящие имена русских святых! Чего-чего, а святых у нас предостаточно.

— А нельзя избежать всего этого кошмара? — тоскливо воскликнул антифашист Шамкин. — Обратиться к Западу! Обратиться к президенту Америки! Пусть пришлёт морских пехотинцев! Уверен, Россия встретит их хлебом-солью!

— Не будьте наивны, молодой друг, — сострадая Шамкину, произнёс Головинский.

Паола чувствовала себя в зеркальной ловушке, в огромном стеклянном кристалле, куда залетел луч света и бьётся о серебряные преграды, стремясь на свободу. А его отбрасывают, отражают, и он мечется в бесконечном kaleidoscope. Это походило на пытку светом. Её мучали, крутили на зеркальной карусели, переворачивали вверх ногами, обжигали пролетающим лучом. Чего-то от неё добивались, только было неизвестно, чего.

— Ко мне обратились с просьбой. Если угодно, я получил задание. Нет, это не сообщество западных разведок. Не финансовые разведки, где у меня много друзей. Не клубы европейских политиков. Это закрытые центры влияния, которые управляют финансами, политикой и войной. “Новый курс” — это

война, большая война, в Европе, Азии, быть может, мировая война. Мы должны не допустить “Нового курса”. Не допустить перевода Плотникова в Москву. Его нужно остановить. Нужно уничтожить.

— Вы хотите убить губернатора? — ахнул правозащитник Разумников и тут же прижал ладонь к губам. — Как убили Столыпина? Но разве такое возможно? — он стал оглядывать стены и потолок, словно там спряталось подслушивающее устройство.

— Какие глупости вы говорите! — зло оборвал его Головинский.

Паола сходила с ума от мерцающих вспышек. Множество бесшумных молний било в неё, пронзало, наполняло пространство расплавленным серебром. У неё отнимали разум, слепили глаза, мучали галлюцинациями. Вдруг множество серебряных рыб врывались в мечеть, один косяк улетал в небеса, другой нырял в пучину, третий неся в колдовских потоках света, и она задыхалась от бесчисленных рыб. Вдруг видела, как загорается над ней светило, окружённое радужными кольцами, словно зимняя луна. Светило превращалось в зелёный месяц с хрустальной звездой. Из этой звезды приближалось к ней лицо Головинского, страшно расплывалось, уродливо корчилось, превращалось в сгусток ртути и уносилось в бездну.

— Никакого физического воздействия! Только духовное! Мы нанесём ему духовный удар невиданной силы, который остановит его, как броневой снаряд останавливает танк. Сегодня я встречался с журналистами и создал информационную пушку громадного калибра. Теперь её следует зарядить и начать обстрел. С каждым ударом он будет слабеть, и вокруг него разверзнется пустота. В эту пустоту устремимся мы. Мы — огромная сила. Правозащитники поведут за собой всех, кто обижен, а обижен весь русский народ. Экологи поведут за собой всех, кто видит в Плотникове губителя родной природы. А природа для русских является второй религией, вместилищем русских богов, и Плотников со своими заводами является богоборцем. Антифашисты поведут за собой всех, кто страдает от русского шовинизма, всех, кто приехал в Россию в надежде найти здесь новую Родину, а получил тюрьму. Либералы объединят вокруг себя всех, для кого сталинизм есть самая страшная страница русской истории, кто слышит шевеленье костей в расстрельных рвах. Музыканты напишут музыку, от которой у Плотникова остановится сердце!

Паола чувствовала, что её оперируют в зеркальной операционной. Над ней летает сверкающий скальпель. У неё вынимают мозг, помещая вместо него слепящий расплавленный сгусток. Вырезают сердце, закатывая в грудь раскалённый ком серебра. Вскрывают чрево, и пучки лучей вторгаются в сокровенное лоно, и она испытывает боль и сладость, как при зачатии. И близкое, отвратительное и прекрасное, склоняется к ней лицо Головинского, окружённое радужным нимбом.

— Вы услышали меня, господа? — спросил Головинский, — Вы идёте со мной?

— Да, — чуть слышно прошептала Паола.

— Конечно, идём, — отвечало застолье. — Мы остановим Плотникова, чёрт возьми!

— Спасибо, друзья, — сказал Головинский. — А теперь отобедаем.

Он хлопнул в ладоши, и слуги в шитых иранских шапочках и долгополых кафтанах внесли на фаянсовых блюдах жареного ягнёнка, копчёного осетра, запечённого фазана.

После обеда гости распрощались с хозяином. Луньков придержал Паолу за локоть:

— Прекрасная Паола, Лев Яковлевич просил вас зайти в библиотеку. Я вас провожу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Библиотека была уставлена стеклянными шкапами, в которых стояли книги. Древние, в кожаных переплётках, коричневые и шершавые, как ковриги. Многотомники с золотым теснением — так в минувшем веке издавали

классиков. В ярких суперобложках — произведения нынешних модных писателей. Пол был застелен ворсистым ковром с чёрно-красным персидским узором. В глубокие мягкие кресла можно было погрузиться, читая книгу, и задремать, если тебя убаюкает долгое повествование. На маленьких резных столиках стояли сладости, изюм, фисташки, калёные орешки.

Головинский поднялся из кресла, обаятельный, любезный, делая галантный поклон. Указал Паоле место на диване с шёлковыми подушками.

— Мне неловко злоупотреблять вашим вниманием. Не сомневаюсь, вы бы нашли более достойный способ употребить своё время. Признателен за ваше долготерпение, — в его голосе была благодарность, робость, чувство вины, и это так не вязалось с его недавней жёсткостью, с грубостью, которую он позволял себе в обращении с несогласными.

— Что вы, Лев Яковлевич, напротив, мне так интересно. Знакомство с вами — большая честь. — Паола, сев на диван, гладила подушку, чувствуя пальцами серебряное шитьё. — Не понимаю, чем я заслужила ваше внимание?

— Я регулярно заглядываю на ваш портал “Логотип”. Восхищаюсь вашими остроумными и блистательными эссе, вашими светскими хрониками. Чего стоит повествование о пикнике, который устроили депутаты на берегу реки. Главу забосования раскачали и бросили в воду, а он выплыл, держа в зубах палку, как спаниель. Или рассказ о вечере во Дворце культуры, посвящённом Пушкину. Пять надувных Александров Сергеевичей и столько же Наталий Гончаровых были явлены публике. А напившийся министр культуры подходил, прокалывал их булавкой, и они громко лопались. Я смеялся до слёз!

Головинский, откинув голову, засмеялся так простодушно и заразительно, что сразу помолодел и стал похож на юношу. Паола засмеялась в ответ, и ей стало легко и свободно.

— А чего стоит ваш рассказ о кладбище, где бродили призраки и скрежетали зубами. Вы были бесподобны, когда шествовали, как привидение, со свечой в руке. Дорого бы я заплатил, чтобы посмотреть на это зрелище!

— Мы просто хотели выразить своё неприятие казённым шествиям, которые устраивает губернатор в дни государственных праздников. Эти шарик, флажки, гармошки... Такая тоска!

— Действительно, тоска. В нашей русской провинции всё является дурной копией столичных затей. И праздники, и выборы, и оппозиция, и интеллигенция. Вы видели сегодня “властителей дум”? Все копии столичных деятелей, все имитация. Но вы — подлинник! Ваша красота неподдельна!

— Спасибо, — Паоле было лестно, что столь влиятельная и именитая персона, миллиардер, окружённый мифами, общается с ней, робеет, любит её ступнями, погружёнными в мягкий ковер, её тонкими руками, оглаживающими серебряную подушку.

— Что бы вы сказали, Паола, если бы я резко расширил ваш портал? Превратил бы его в интернет-телевидение. Вы получите настоящую студию, современное оборудование, персонал. Станете заниматься первоклассной журналистикой, перешагнув провинциальный уровень. У вас будет столичный размах, — глаза Головинского мечтательно сияли, и он приглашал Паолу в свои мечтания. — Вы достойны самой высокой роли!

— Но чем я заслужила? — испугалась она, на секунду поверив в возможность чуда. — У меня нет опыта. Я веду скромные светские хроники, которые, как вы сказали, являются карикатурами на столичные. Ни мировых выставок, ни международных фестивалей, ни чествования прославленных звёзд.

— Всё это будет, я вам обещаю. Я вложу деньги, использую мои связи, и сюда приедут звёзды Голливуда. Но начнём с небольшого.

— С чего? — волнуясь, спросила Паола, подозревая, что всеильный шутник разыгрывает её, как разыгрывал других. — Что я должна сделать?

Головинский потянулся к резному столику, взял лежащий на нём планшет, повертел в руках и протянул Паоле.

На экране по пояс в воде стояли мужчина и женщина. Было видно, как на голой женской груди блестит вода. Мужчина обнимал её сзади, она улыбалась, и вокруг них расходились круги. У мужчины было восхищённое лицо, а женщина, не стыдясь наготы, блаженно раскрыла руки.

— Кто это? — спросила Паола.

— Не правда ли, красивая пара? Будто созданы друг для друга. Ну, просто Адам и Ева перед грехопадением.

— Кто они?

— Губернатор Иван Митрофанович Плотников и его возлюбленная Валерия Петровна Зазнобина. Ведь это надо же, какое лицемерие демонстрирует наш губернатор! Проповедует нравственность, справедливость, консервативные ценности, а сам развлекается с любовницей, в то время, как жена его, больная неизлечимой болезнью, умирает у него на глазах. Он выстроил себе роскошную дачу подальше от глаз и возит туда свою красотку. Они, наши государственные мужи, бранят Запад, чуть ли не объявляют ему войну, а сами учат своих детей в западных университетах, лечатся в западных клиниках, то и дело суются то в Ниццу, то в Монако. Сын Плотникова Кирилл обучается в Оксфорде, и отец купил ему в Лондоне дорогую квартиру. Великолепно, не правда ли?

Тем же вечером на портале “Логотип” появилась фотография губернатора Плотникова с обнажённой возлюбленной среди озерных вод. Фотографию сопровождал текст: “Как прекрасно летнее озеро в окрестностях губернаторской дачи! Как прекрасны русалки, ласкающие губернатора Плотникова своими нежными ластами! Как прекрасна дача из дорогих пород дерева, мрамора, яшмы, построенная в стороне от досужих глаз людских. Губернатор Плотников, ах, простите — Блудников, ах, я ошиблась, — Плотников — ревнитель православной традиции, проповедник консерватизма. Он не отказывает себе в плотских, ах, простите, — в плотнических, радостях. Что и понятно рядом с немолодой и не совсем здоровой женой. А что бы сказали жители поселения Копалкино, живущие в трущобах, если бы губернатор пригласил их на свою роскошную дачу попить чайку? Что бы сказали граждане нашего города, ютящиеся в коммуналках, если бы им показали дорогую квартиру в Лондоне, которую губернатор подарил своему сыну, студенту Оксфорда? Давайте их спросим!” И подпись: “Паола Велеш”.

На эту публикацию мгновенно отозвались газета “Обозреватель”, блогер Клёвый, блогер Кант, телеканал “Карусель”, радиостанция “Свежий ключ”, жёлтый листок “Все грани”. Отклики изобиловали выражениями: “Коррупция — мать порядка”. “Губернатор опустил конец в воду”. “Лондонский след губернатора”. “Фото с нудистского пляжа”. “Голая правда”. “А у меня длиннее”.

Буря летела по интернету, как мусорный ветер, переносилась из губернии в губернию, врывалась в столицу, обволакивала имя Плотникова ядовитой пылью.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Плотников проснулся разбитым, с большой головой, словно его всю ночь раскачивали и били теменем о каменную стену. Было рано, жена ещё не вставала. Мысль о её болезни пугала, побуждала действовать, отыскивать лучших врачей, звонить в элитные клиники.

Он вызвал машину и спозаранку поехал на работу, чтобы в тишине огромного кабинета просмотреть документы и письма. Одни документы он подписывал, другие, с резолюцией, рассылал заместителям, третьи откладывал, чтобы ещё раз внимательней с ними ознакомиться.

Его тронуло письмо из интерната для отстающих детей, в котором директор просит срочно помочь с ремонтом, ибо здание пришло в негодность, и в любой момент может случиться авария. Плотников взял это письмо на особый контроль.

В другом письме руководитель народного хора просил создать в селе музыкальную школу, ибо народ в селе наделён абсолютным слухом, сочиняет музыку, и среди одарённых детей таятся будущие великие композиторы. Плотникову захотелось побывать в селе, послушать хор, познакомиться с руководителем хора.

Он нашёл письмо из Японии, где побывал в прошлом году и вёл переговоры об открытии в губернии филиала фирмы “Ямаха”. Японцы подтверждали свою заинтересованность и были готовы приехать в Россию, осмотреть территорию технопарка.

Тогда, в Японии, он мчался по хайвэю из Токио в Икогаму вдоль токийского залива, погружался в ревущую тьму туннелей, взмывал в пылающую белизну небес. И повсюду непрерывно вдоль моря тянулись заводы, корпуса цехов, трубопроводы, цилиндрические хранилища нефти, полусферы с жидким газом. Химия, металлургия, электроника. Гигантские верфи с заложенными судами. Аэрокосмические производства. Всемирно известные компании “Мицубиси” “Тойота”, “Хонда”. И снова кубические громады заводов, огромные пирсы, к которым причаливают супертанкеры с ближневосточной нефтью, отплывают многопалубные автомобилевозы, увозя машины в Америку и Европу. Поражал этот стукот индустрии, грандиозная мощь цивилизации, могучий мускул, дрожащий от непомерных усилий. Плотников с завистью и восхищением смотрел на плоды японского гения, мечтал, что бы подобная мощь явила себя в России.

Он разобрался с документами до начала рабочего дня. Услышал, как здание администрации наполняется голосами, звуком шагов. Зазвонили телефоны в приёмной, секретарша отвечала. Плотников провёл скоротечное совещание с министрами и, захватив неизменного заместителя Притченко, поехал в область.

Он хотел посетить автомобильный завод “Фольксваген”, который ещё недавно был местом сборки автодеталей, привозимых из Германии по железной дороге и воздуху. Но постепенно, стараниями Плотникова, рядом с германским заводом возникали русские фирмы, производящие бамперы, диски, фары. Всё больше русских элементов входило в состав немецкой машины, и Плотников мечтал, что когда-нибудь последняя немецкая деталь будет вытеснена русской, и возникнет долгожданный первоклассный русский автомобиль.

Завод “Фольксваген” занимал огромную белесую пустошь, окружённую лесами. Серо-стальные, почти бесцветные корпуса казались тенями проплывавших облаков. К цехам подходили железнодорожные пути, на которых стоял состав с контейнерами, прибывшими из Германии. Сюда же вела высоковольтная линия с кружевной вязью подстанции. И вся окрестность была плотно уставлена рядами недавно изготовленных автомобилей разных расцветок и модификаций, похожих на коллекцию нарядных жуков. То и дело отъезжали двухъярусные автомобилевозы, в которых машины ещё больше напоминали сцепившихся жуков.

В заводууправлении, похожем на гранёный бокал, Плотникова встретил управляющий производством Франц Грюнвальд, немец родом с Волги, поэтому и выбранный руководством концерна для управления дочерним предприятием в России. Полный, благодушный, с рыжеватой бородкой и пятнистым румянцем немолодого, не желавшего стариться лица. Бледные синие глаза, чуть навывкате, смотрели спокойно и мягко, словно в них никогда не возникало и тени гнева, изумления или страха. Именно так, с дружеской безмятежностью взирали теперь эти глаза на Плотникова.

— Ну, что, Франц, будем с помощью Германии строить идеальный русский автомобиль? — Плотников пожимал тёплую сдобную руку немца. — Хочу неподалёку отсюда посадить производство автомобильных стёкол. Зачем их возить из Германии?

— Мы будем приветствовать производство стёкол в России, — ответил Франц. — Но не уверен, сумеют ли русские создать идеальный автомобиль. Танк — да. Самолёт — да. Подводную лодку — да. Но автомобиль — сомневаюсь. Русскому человеку не интересно создавать машины для комфорта. Это не в характере русского человека.

— В характере русского человека, Франц, делать любые машины. Просто нам слишком долго угрожали войной, сжигали наши города и дворцы. И мы должны были создавать первоклассное оружие. Теперь, я надеюсь, у нас возник некоторый запас времени, свободного от войны. Мы им воспользуемся и создадим идеальный автомобиль.

— Вам надо, Иван Митрофанович, создавать идеального человека. Русские всегда стремились создать идеального человека.

— А вы думаете, Франц, мы пригласили вас сюда, чтобы вы создавали идеальный автомобиль? Ваш завод выпускает совершенный автомобиль, но он также выпускает усовершенствованных людей. Русские рабочие, которые строят немецкие машины, скоро будут строить совершенные русские автомобили.

— Мы возим ваших рабочих в Германию, и они очень восприимчивы к новым технологиям.

— Мы пересадили сюда небольшое деревце немецкой цивилизации. Но постепенно это деревце даёт отростки, и уже возникает целая роща. Мы переносим сюда вашу цивилизацию и благодарны за это. Мы отстали за эти трудные годы. Вы помогаете нам наверстать упущенное.

— Мы рады вам помочь, Иван Митрофанович.

Они смотрели друг на друга с симпатией, и природа этой симпатии у каждого была разной. Немец, родившийся в России, помнил огромную синеву поднебесной реки, русскую речь, в которой звучали самые нежные и чудесные переживания его детства. Он дорожил заводом, который строил для России прекрасные машины, принося концерну немалую прибыль, дорожил престижной должностью управляющего, который, в силу происхождения, умел уладить с русскими множество самых несурзных проблем, возникавших в России.

Плотников видел в немце удобного и надёжного партнера, который содействовал воплощению его стратегических замыслов, превращал ещё недавно сирую область в оплот новой русской цивилизации.

— Русский человек может всё, — повторил Плотников, — потому что русский человек — мечтатель. Он мечтает о недостижимом и в страшных трудах достигает его.

— Немецкий народ когда-то тоже был мечтателем. Мечтал о недостижимом. Но теперь он не мечтает, а только работает. И достигает в работе того, о чем другие только мечтают, — Франц улыбнулся своим сочным розовым ртом, и Плотникову показалось, что в его улыбке промелькнула печаль.

— Вы всегда были великим народом-мечтателем. Но вашу мечту сначала превратили в чудовищный фарс, человечество увидело в вас исчадие ада. А потом, когда вы проиграли, вам запретили мечтать и оставили только работу. Вы должны снова обрести возможность мечтать.

— Едва ли это возможно, — Франц осторожно оглянулся, словно кто-то чутко следил за ходом его мыслей. — Нам возбраняется мечтать.

— Русские помогут вам снова стать народом-мечтателем. Мы учимся у вас технологиям, которые помогут нам лучше работать. А вы изучайте наши технологии, благодаря которым мы после разгрома снова стали мечтать.

Здесь, на заводе, в стороне от болезненных предчувствий и страхов, Плотникову было хорошо. И он в который уж раз захотел осмотреть производство.

После тихого, с бархатным освещением кабинета, пройдя сквозь пневматические двери, Плотников оказался в сборочном цехе. И был огушен, ослеплён, остановлен. Громадное, лязгающее, сверкающее пространство снизу доверху было наполнено движением, пульсирующим, звенящим, мерцающим. Бетонный пол был расчерчен разноцветными линиями, по которым в разных направлениях двигались автокары с деталями, мини-тракторы, шагали рабочие в комбинезонах. Ленты конвейеров наполняли цех, взмывали к потолку, низвергались обратно, и по ним сплошными потоками двигались детали. Соединялись в узлы, укрупнялись, меняли конфигурацию. Озарялись звёздами сварки, краснели ожогами, искрили, казались стеклянными.

Плотников восхищённо смотрел. Это был его мир, здесь воплощались его мечтания. Так из крупиц металла, из огненных капель возникали машины.

По тем же законам из крохотного семени выросло дерево. Так же из космической пыли и незримых лучей Бог создавал Вселенную, собирал по частицам, одушевлял её. Так, через все препоны и разделения, великими трудами, непомерным напряжением разума строилась новая русская цивилизация.

Автомобильные дверцы, как сверкающие глазастые рыбы. Конвейер, как струящийся шумный поток. Сварщик вонзал в рыбу чешую колючую вспышку. Дверца с гаснущей красной отметиной пролетала дальше, и другой сварщик пронзал её остриём. Сварочные аппараты качались в воздухе с клювами электродов. Они были похожи на гарпуны. Сварщик хватал гарпун, нацеливал в пустоту, где тут же всплывала глазастая рыба. Всаживал остриё, точное, хрустящее, прокалывал чешую. Мигали индикаторы, мерцали окуляры слежения. Озарялись головы в защитных щитках, крепкие руки в перчатках. Летел, блестя чешуей, икрящийся бесконечный косяк.

Плотников жадно ловил момент, когда электрод касался детали, и в этой мгновенной вспышке, в голубой звезде человек соединялся с машиной. Ум человека и его душа, его судьба и любовь, его рождение и неизбежная смерть передавались машине, оживляли, очеловечивали. Плотникову казалось волшебным одухотворение машины. Бездушная, не одухотворённая, она была способна на чудовищные злодеяния. От неё погибали города, умирала природа. Государство, будучи непомерной машиной, не одухотворённое любовью и верой, становилось ужасным злом: истребляло соседние страны, угнетало народы, было бедствием для собственных граждан. Плотников мечтал о цивилизации машин, одухотворённых возвышенным человеком.

Кузовная сварка происходила в брызгах огня и лязге скопления роботов. Железный короб проталкивался по конвейеру. Роботы, состоящие из сочленений, из железных суставов и мускулов, молча смотрят, словно прицеливаются. Разом со всех сторон набрасываются на кузов, изгибаются, извиваются, проникают электродами в самые недоступные точки. Жгут, звенят, пылают воспалёнными головами. Отпрянули и застыли, словно оценивают проделанную работу. Сваренный кузов уходит по конвейеру, его место занимает другой. Роботы смотрят, скосив головы, прицеливаются и вновь повторяют свои виртуозные выверты, набрасываясь на изделие.

Внезапно погасли огни, застыли конвейеры, бессильно повисли роботы. Стало мертво тихо, только где-то жалобно постукивало, словно останавливалось сердце. В сумраке, среди тусклых светильников расходились люди. Они торопились уйти, будто здесь у них больше не было дел, их пребывание утратило смысл и грозило опасностью.

Плотникову стало худо. Сердце полоснула резь. Он искал опору, чтобы не упасть.

— Что с вами, Иван Митрофанович? — к нему подоспел Франц Грюнвалд.

— Почему остановился завод?

— Конвейер встал на профилактику. Завтра в двенадцать часов он работает.

— Мне нужен свежий воздух. Проводите меня, — чувствуя, как щемит сердце, он направился к выходу.

В машине, рядом с вице-губернатором Притченко, он был погружён в свои тревоги и не сразу заметил, что Притченко, заглядывая в планшет, порывается ему что-то сказать.

— Что вы хотите, Владимир Спартакович?

— Да не знаю, как и сказать! — заикаясь, заглядывая в экран планшета, произнёс Притченко.

— Что там такое? — рассеянно повторил Плотников.

— Не знаю, как и сказать, Иван Митрофанович! Просто ужас! — Притченко заслонил экран растопыренной пятернёй, словно не давал вылететь из планшета какой-то трепещущей силе.

— Позвольте, — Плотников принял из дрожащих рук Притченко планшет. Увидел на экране водяную гладь с расходящимися кругами, и среди кругов стоит он, Плотников, обнимая за плечи Леру, на её голой груди блестят капли, и у обоих блаженные лица.

Мгновение он ловил этот восхитительный свет озера, нежность близкого любимого тела, пролетающую над ними голубую стрекозку, а потом ударил ужас, словно из планшета прогремел выстрел в упор.

— Что? Откуда? — беспомощно пролетел он, чувствуя, как тихие круги на воде превращаются в ревущую взрывную волну. И та распространяется с ужасной скоростью, сносит на своем пути всё, из чего состояла его жизнь. — Кто? Кто разместил?

— Там столько всего, Иван Митрофанович! И текст, и комментарии, и всякие гадости!

— Кто сделал снимок? — Он вдруг вспомнил, как по озеру из-за камышей вылетела лодка, промчалась, оставляя на воде серебряную полосу, пропала с затихающим стрёкотом. — Лодка! Оттуда снимали!

Он читал текст, который назывался “Голая правда”. В этом тексте всё было мучительно и ужасно. И то, как оскорбительно перевирали его фамилию, нарекая то Плутниковым, то Блудниковым. И то, как лгали о дорогой квартире, которую он купил сыну в Лондоне, хотя сын не купил, а снимал эту квартиру. И про дачу, построенную из ливанского кедра, из родосского мрамора, с золотыми раковинами и унитазами. И о тайных ночных молениях перед иконой Сталина, в которых он молил о возвращении сталинизма, славил ГУЛаг и расстрелы. И намёки на неизлечимую болезнь жены, которая страдала от многочисленных измен мужа и от оргий, которые тот устраивал на даче.

В комментариях к этой публикации было ещё больше лжи и гадости. Сына причисляли к “золотой молодёжи”, который “свалил из России”, в то время как его одноклассники воюют добровольцами в Донбассе. Леру называли “порочной и алчной интриганкой”, которую он продвигал в университете на должность декана, и все её сослуживцы ненавидели её. Было много непристойностей и похабщины в описании постельных сцен. Говорилось, что иностранные фирмы платят Плотникову огромные взятки за право строить в губернии вредные производства, и у Плотникова за границей денежные счета. И, наконец, вскрывался тайный замысел Плотникова переместиться в Москву, сначала на пост премьера, а потом и самого президента, чтобы осуществить пересмотр всего, что было сделано либеральными силами после крушения СССР. “Сталинский реванш” — так назывался злой комментарий.

Комментарии сыпались один за другим. Это был не одиночный выстрел, а сокрушительный залп. Серия залпов. Работала артиллерийская батарея из множества орудий разного калибра. Каждое орудие было пристрелено, знало свою цель.

Читая имена блогеров, названия сайтов, Плотников старался вспомнить, кто такая Паола Велеш, которая написала самый главный, самый злой материал. Чем он её мог обидеть? Где перешёл дорогу? Не мог вспомнить. Только чувствовал, как взрывная волна стремительно распространяется, ударяя в стены его дома, расшибая вдребезги его ценности, разрезая связи с самыми дорогими людьми. Сверкающий след промчавшейся лодки был порезом, отсекающим одну часть его жизни от другой.

— Кто такая Паола Велеш? — обморочно спросил он Притченко.

— Да вы её видели, Иван Митрофанович! Такая смазливая, чёрненькая, из “Логотипа”. Бывает на концертах, вечерах. Ну, всякую там ерунду, светскую хронику! Да и всех остальных вы знаете. “Обозреватель”, “Чистые ключи”, все “Клёвые”, “Ласковые”. Сброд!

— Почему они так? Ведь я им всем помогал, звал на мои пресс-конференции.

— Здесь чувствуется какой-то заговор. Одна рука. Не из губернии, а из Москвы. Не деньги, а приказ. Кто-то вас очень невзлюбил. Боится вашего полёта. Хочет вас подстрелить. Это моё мнение, Иван Митрофанович!

— Нет у меня врагов в Москве. Только поддержка. Как же мне теперь быть? — он слушал гул волны, которая встала из пучины и двигалась к берегу, сокрушая мир, который он строил. В страшных водоворотах гибли любимые начинания, тонули любимые люди. Жена, сын Кирилл, Лера, — их

крутило, било одного об другого. Они старались спастись, но их утягивало в ревущую воронку... — Как же мне быть?

Притченко, видя страдания начальника и не умея ему помочь, говорил торопливо:

— Иван Митрофанович, плюньте на сволочей! Потрещат и умолкнут! И не такое забывают. Это раньше, при Советах, партийное разбирательство, аморальное поведение, понижение в должности. А теперь другие времена, другая мораль. Посмотрите, что себе позволяют артистки эстрады. Снимаются голые, и сами выставляют свои лобки в интернете! Оппозиционных политиков фотографируют скрытой камерой в постели с проститутками, а они от этого становятся ещё популярнее. Не расстраивайтесь, Иван Митрофанович. Наши мужские дела... А эту Паолу мы накажем. В нашей губернии такое предательство не проходит. Говорил вам, народ — предатель. Вас, благодетеля своего, предали!

— Вы не понимаете, Владимир Спартакович! Это удар в самое сердце, — Плотников схватился за грудь, где сердце сжалось от боли. — Моя беззащитная, больная жена, мой наивный, романтический сын, моя ненаглядная Лера! Это я их всех предал! Я, я предатель!

— Ну, хорошо, Иван Митрофанович. Давайте приедем, я позову телекамеру. Вы скажете, что против вас, а значит, и против губернии совершенная провокация. Против всех ваших прогрессивных преобразований, против всех жителей губернии. Эта мерзкая фотография — не более чем фотошоп, подделка. А что касается дачи из ливанского кедра и родосского мрамора, то это не дача Плотникова, а построенный Плотниковым на собственные деньги интернат для отстающих детей. Это ваш личный дар, понимаете? Народ это оценит и про снимок забудет. И жене, и сыну говорите: провокация, фотошоп!

— Фотошоп! — беспомощно повторял Плотников, — Фотошоп!

Из машины Притченко вызвал корреспондента подконтрольной губернатору телекомпании. Вернувшись в город, в фойе администрации Плотников сделал короткое заявление. Стараясь быть строгим, а местами ироничным, он сообщил о провокации, учинённой противниками преобразований, посоветовал на кустарную работу фотографов, не сумевших скрыть подделку. Сообщил, что построил на свои сбережения и передаёт в дар детскому интернату красивый дом на берегу озера. Призвал предпринимателей последовать его примеру. И строго пожурил Паолу Велеш.

— Вы хотите причинить беспокойство другим людям, но как бы вы сами не лишились покоя. Вас может замучить совесть, и вы пропадёте, исчезнете! — Так Плотников, достойно и точно, отразил удар.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Конец дня Плотников провёл в рабочем кабинете и покинул его только под вечер. Было страшно возвращаться домой. Взрывная волна, которую породили тихие круги на воде, должна была докатиться до его богатой, уютной квартиры. Сокрушить стены. Ворваться в гостиную с камином и картиной Поленова в золочёной раме, в кабинет с дубовым столом и бронзовым бюстом Петра Великого, в спальню с образом Богородицы, перед которым молилась жена. Он ожидал увидеть взломанные двери, опрокинутые столы и стулья, осколки и ворохи, которые недавно были дорогими сервизами, нарядными вазами, парадными костюмами. Так выглядели дома и селенья, подвергшиеся ударам цунами.

Но в квартире было тихо. Всё так же на стене золотилась рама, на камине поблескивала стеклянная статуэтка. Дверь в комнату жены была закрыта, и за ней не раздавалось ни звука. Сын ещё не возвращался, пропадая где-то в городе на встрече с друзьями. И у Плотникова возникла спасительная мысль, что жена ничего не знает. Погружена в свою болезнь. Отгородилась от внешнего мира своей болезнью. И всё обойдётся, само собой загладится, позабудется.

С этой мыслью он прошёл в кабинет, убедившись, что бюст царя-преобразователя стоит на месте. Стал стелить себе на диване, готовясь ко сну.

Внезапно дверь кабинета распахнулась и появилась жена. Она была не в своем обычном домашнем халате, а в нарядном платье, которое надевала в торжественных случаях. Волосы её были причёсаны и удерживались гребнем, но одна прядь отвалилась и лезла в глаза. Лицо её, одутловатое, болезненно-серое, утратило обычные свои очертания, дрожало и трепетало, размытое невыносимым страданием. Глаза, блуждающие, полные блеска, метались, словно отыскивали его среди кабинета. Остановились на нём, дрожа от слёзной сверкающей тьмы.

— Ты не привёл её в дом? Почему ты её не привёл? Ты бы заранее меня известил, и я бы ушла, а она заняла моё место! Почему не предупредил заранее?

— Валя! Валя! Ну, что ты! Ну, погоди! — его испугало не её обезумевшее лицо, а это нарядное вечернее платье, словно она готовилась к торжественной встрече. — Валя, я всё объясню!

— Теперь понимаю, почему не хотел пускать меня на дачу! “Потом, потом!” Ты её там принимал! Хотел построить дом, где мог бы её принимать! Подальше от глаз! А мне говорил: “Работа! Столько работы...” Теперь все видят, какая это работа!

— Ну, уверяю тебя! Это фотопшоп! Подделка! Чья-то злая выходка!

Он видел, как она страдает. Её страдание заставляло и его страдать, и он винил её за страдание, которое она ему причиняла. И был себе отвлителен.

— Нет, не подделка! Не лги! Это ложь! Ты весь во лжи! Как я ненавижу твою ложь! — она захлебнулась. В глазах её полыхнула ненависть. Он испугался этой ненависти, которой никогда прежде не было. Но теперь он совершил такое, за что она возненавидела его.

— Конечно, мой дорогой, я старая, больная, уродливая. Зачем я тебе такая? Но разве ты не мог дожждаться моей смерти? Не мог немножко подождать, когда я умру? Я ведь скоро умру!

Ему было невыносимо. Было ужасно жаль её. Было жаль и себя. Сердце его с болью рвалось из груди.

— Я всё, всё тебе отдала! Всё без остатка! У меня не было ничего, кроме тебя и семьи! Я вдохновляла тебя, когда на твою голову обрушивались несчастья, ты терял веру, падал духом. Я возрождала твою веру, убеждала тебя, что ты лучший, сильнейший, честнейший. Ты творец, бескорыстный мечтатель! Ликовала, когда ты получал награды. Мне казалось, это я их получаю. Когда кто-то говорил о тебе плохое слово, я бросалась на него, готова была выпарпать ему глаза! Когда была беременна Кирюшей, и врач говорил, что мне нельзя рожать, это смертельно опасно, я знала, как ты мечтал о сыне, и сделала кесарево сечение.

Он было беспомощен. Не мог к ней приблизиться, не мог обнять, не мог покаяться. Не мог вернуть то прежнее лучезарное время, когда любил её. Не мог сказать, что и теперь любит её, готов передать ей свою свежесть и силу, передать отпущенное ему для жизни время, чтобы она воспользовалась этим временем, и болезнь её отступила. Пусть это чёрное чудовище, которое в ней поселилось, переползёт в него, и тело её воскреснет.

— Я любила тебя! Ах, как я любила тебя! Какое это было счастье — любить тебя! Какое было счастье смотреть на мир твоими глазами, думать твоими мыслями, следовать за тобой по пятам! В тот день, когда мы познакомились, меня поразил твой взгляд, обожающий, светлый, чудесный, в котором было столько чистоты, благородства! Ты предатель! Ты предал меня!

— Валя, я всё объясню! — он шагнул к ней, пытаясь обнять. Но она отскочила с необычайной энергией:

— Не приближайся ко мне! От тебя пахнет предательством! От тебя пахнет развратом! Твоя мерзкая любовница, твоя пакостная хитрая дрянь! Будь с ней, а я ухожу! Уезжаю к сестре, сейчас же! Господи, сделай так, чтобы я умерла!

Она зарыдала, её седая отпавшая прядь билась у глаз. Он кинулся к ней, но она выскочила из кабинета, хлопнув дверью.

И он стоял, слыша, как ревет вокруг изуродованное пространство. Чудовищная буря крушила его мирозданье.

Плотников не спал, лёжа на диване с раскрытыми, не мигающими глазами. Слушал, как сердце ухает, не помещаясь в груди, словно его выгналкивают из гнезда.

Дверь в кабинет растворилась, и вошёл сын Кирилл. Свет из гостиной бил ему в спину, лица не было видно, а только тёмный, худой, юношеский силуэт.

— Ты не спишь?

— Нет.

— Скажи, это правда?

— Что — правда, сын?

— О чём все говорят и пишут.

— Счета за границей? Коррупция? Дорогая квартира в Лондоне?

— Нет, я про женщину.

— Не могу тебе всего объяснить. Ты вырастешь и поймёшь.

— Нет, ты должен мне объяснить.

— Не допрашивай меня! Не смей! — крикнул он с истошным беспомощным стоном, вскакивая с дивана.

— Ты был идеальным для меня человеком, папа. Твои отношения с мамой были для меня примером человеческих отношений. Они помогали мне, сберегали, убеждали, что я всё делаю правильно. Теперь я не знаю, как быть.

— Ты прав, я слишком мало тобой занимался, мало говорил. Всё работа, работа.

— Это неважно, что ты мало со мной говорил. Я видел тебя, чувствовал, слышал, как ты говоришь с другими. Видел, как ты относишься к маме, какие возвышенные, благородные у вас отношения. Ты мне казался самым благородным человеком.

— И что же теперь? Ты увидел во мне подлеца? — Плотников едко, с кашлем засмеялся. — Ты что, от меня отрекаешься?

— Правы те, кто пишет, что я — “золотая молодёжь”. На всем готовом, протекция, деньги, Лондон. Мои сверстники поехали воевать на Донбасс, некоторые уже ранены. А я за твоей спиной. Отец, я больше не вернусь в Оксфорд.

— Это дичь несусветная! Какая “золотая молодёжь”? Ты учишься день и ночь. Приобретаешь знания, которые будут нужны здесь, в России. Ты моя смена. Здесь наступают великие перемены. Россия нуждается в молодых образованных профессионалах! — Он чувствовал беспомощность своих слов, не мог найти нужных, искренних, убедительных слов. — Ведь ты понимаешь, всё, что теперь написано, — это желание меня сломать, ослабить, разрушить. Разрушить моё дело, мои начинания, мою семью! Так разрушают государство!

— Ты сам всё разрушил, отец. Мама уезжает. Она тяжело больна. Она нуждается в поддержке. Я уезжаю с ней.

— Не спеши, всё поправится. Я поговорю с мамой!

— Нет, отец. Я уезжаю. Прости.

Сын повернулся. На мгновение осветилось его лицо, открытый лоб, над которым распушился хохолок, который он, Плотников, так любил целовать.

Сын вышел, затворив дверь. В кабинете стало темно. И не было сил вскочить, остановить сына, прижать к себе его хрупкое юношеское тело.

Плотников лежал, опрокинувшись навзничь. Слышал, как ухает сердце, словно его кинули на наковальню и бьют молотом. Выковывают из сердца подкову или скобу, или гранёный гвоздь.

Утром, разбитый, с ноющим сердцем, Плотников на работе подмечал, как изменилось к нему отношение. Секретарша нервно, с повышенной предупредительностью кидалась выполнять его поручения, словно промедлением или небрежностью боялась усугубить его положение. Министры, хмураясь, с почти суровой деловитостью, хотели подчеркнуть, что отношения с началь-

ником остаются сугубо рабочими и не подвержены внешним влияниям. Старались загрузить Плотникова избытком проблем. Руководитель аппарата, молодой и сметливый, несколько раз весело блеснул глазами, с трудом скрывая своё любопытство. Некоторые служащие, когда Плотников проходил по коридору, начинали шептаться за его спиной, и быстро расходились, если он оборачивался. Было видно, что все обо всём знают, обсуждают скандал.

Он провёл встречу с главами районов, обсуждая виды на урожай. Встретился с главным автоинспектором и выслушал доклад о крупной аварии на федеральной трассе, где фура врезалась в автобус. Принял представителя президентской администрации, и тот выспрашивал, когда намечается пуск трубопрокатного цеха, намекая на возможный приезд президента. И во время всех этих встреч он то и дело взглядывал на свой телефон. Среди многочисленных непринятых звонков он ожидал увидеть лишь один — мучительный и долгожданный — звонок от Леры. И дождался. Затворившись в кабинете, он заговорил:

— Наконец-то! Почему не звонила? Я мучился!

— Это ужасно, Иван! Такая беда!

— Нам нужно повидаться. Давай поужинаем в тихом месте. Я закажу кабинет.

— Да что ты! Теперь это невозможно! За нами следят!

— Давай уедем на дачу. Я пришлю машину.

— Ты с ума сошёл! Всё случилось на этой ужасной даче!

— Хочу тебя видеть. Встретимся далеко от города. В самом пустынном месте. Там, где была усадьба баронессы Остен Сакен. Там нет ничего, только аллея. И запущенный пруд. Согласна?

— Согласна.

— Пришлю за тобой машину.

— Нет, нет, я сама!

Он мчался, волнуясь, предчувствуя мучительную встречу. Усадьба или то, что от неё осталось, находилась в стороне от трассы. К ней вёл просёлочек, который переходил в старую липовую аллею. Тут же было два заросших пруда и поросшие травой буторки, где когда-то был барский дом и церковь. Плотников давно подыскивал богатых предпринимателей, которые взялись бы восстановить усадьбу и превратить её в фешенебельную гостиницу на природе.

Он оставил шофёра с машиной в стороне от аллеи и направился по утоптанной дорожке среди старых лип. Иные чернели дуплами, с поломанными и усохшими вершинами. Другие великолепно возносились, образуя две плотных стены, обступившие дорожку. Солнце едва пробивалось сквозь листву, и на розовой дорожке дрожали бесчисленные мелкие тени и пятна света. Трепетали, переливались, словно дорожку посыпали горстями монет. Плотникову казалось, что аллея беззвучно говорит на своём торопливом языке, что-то силится ему сказать, чему-то научить. Но он не понимает этой древесной речи.

Когда он проходил мимо пруда, из осоки шумно взлетели криквы, взволновали пруд, сверкнули тёмно-синими перьями.

Он ждал Леру, искал слова, с которыми к ней обратиться. Боялся, что не найдёт этих слов. Вслушивался в тихий лепет деревьев, которые, казалось, знали эти слова, но не могли ему передать.

Он увидел её в конце аллеи. Она шла стройная, прямая, не поднимая головы, в строгом платье, которое волновалось при движении её ног. Издалека он обожал её, приближал к себе, чувствовал грудью, как уменьшается между ними расстояние, видел её близкое, округлое, с лёгким выступом скулы лицо, серые глаза под пушистыми бровями, прямой пробор золотистых волос, крохотные бриллианты в маленьких прелестных ушах.

Он обнял её, жадно вдыхая её свежесть, женственность, прижимая ладонь к её гибкой спине, не отпуская губами её мягких волшебных губ. Чувствовал, как любит её, какое несчастье с ними случилось, какая беда ждёт их за пределами этой аллеи, розовой тропинки, бесчисленных вспышек солнца сквозь трепещущую листву.

— Это ужасно! — сказала она, отстраняясь. — Они не дают мне прохода. Подсунули фотографию, подложили в книгу текст. Как могло это случиться?

— Не знаю, какой-то враг, отъявленный негодяй. Та лодка, помнишь? Так быстро промелькнула, оставила серебряную полосу. Там находился фотограф.

— И здесь за нами следят. Я чувствую чужие глаза. Не знаю, откуда. Из-за деревьев, из листвы, из воды. Теперь они следят за каждым нашим шагом, и завтра появятся новые ужасные фотографии.

— Здесь нет никого. Пустынное место.

— Пришла тебе сказать, что уезжаю. Мне невыносимо здесь оставаться. Я уже уволилась из университета. Уеду куда-нибудь, поступлю преподавателем в школу. Если не в город, то в деревню. В деревнях нужны преподаватели.

— Подожди! Я не вынесу! Ты не можешь от меня уехать!

— Мы не вынесем этой слежки, этой молвы, этого ужасного клубка, который вокруг нас наматывается. Мы больше не должны встречаться.

— Ты моя любимая! Ты мне дороже всего! Я разрублю этот клубок! Я найду выход! — он чувствовал, как она ускользает. Ещё здесь, рядом, ещё благоухают её волосы, ещё он видит ложбинку в вырезе платья, ещё может сжать её в объятиях, слыша, как стучит её сердце. Но она ускользала. Её отсекало. Между ними был тончайший разрез — та серебряная полоса на воде, и их уносило друг от друга.

— Я говорила, что никогда не причиню тебе вреда, не доставлю тебе беспокойства. Теперь из-за меня у тебя будут неприятности на работе. Возникнут препятствия в твоей карьере. Я не хочу быть помехой, и поэтому мы расстанемся.

— Всё это вздор, вздор! Это не может быть помехой в карьере. Посмотри на мир. Войны, революции, бесчисленные трагедии. Это занимает людей. Люди хотят спастись, выжить. Другие, как перед концом света, пускаются в безумства. Покупают яхты, дворцы, шампанское за сто тысяч долларов. И всё это пропадёт, канет. И никому до нас с тобой нет дела. Я люблю тебя. Это самая высшая для меня драгоценность!

— Нет, а твоя жена? А твой сын? Твоя семья? Я не стану красть тебя из семьи. Не смогу быть счастливой, если другая женщина будет несчастна. Да и ты не сможешь! Она больна, и ты не можешь её оставить. Ты никогда себе этого не простишь.

— О, Боже, какое несчастье!

— Мой милый, мой любимый, я так тебе благодарна. Я испытала такое высокое чувство. Столько всего прекрасного. И как мы встретились на балу, и ты, к удивлению всех, пригласил меня танцевать, и надо мной закружились хрустальные люстры, как ослепительные солнца. И наш первый ужин на веранде, над прудом, в котором плавали два лебедя, и ты бросал им хлеб, и они приподнимали свои белые крылья. И та восхитительная ночь, когда мы лежали, и в открытое окно смотрели звёзды, разноцветные, мерцающие, и мы видели, как одни исчезают, а другие загораются, и ты сказал, что это небесные часы. И наше последнее свидание, этот дивный ливень, когда берёза была сплошным водопадом, и ты кинулся в дождь и принёс мне красную розу, полную воды. Она и теперь стоит у меня в вазе, и когда она завянет, я её засушу, и она будет со мной всю жизнь.

— Остайся, умоляю тебя! — он смотрел, как трепещут тени на розовой дорожке, как стремятся ему что-то сказать, может быть, те единственные слова, которые её остановят, не позволят разрушить чудо.

Он старался разгадать этот вещей язык листвы, ветра, солнечных вспышек, среди которых мелькнула молчаливая птица и канула. Не мог разгадать. Беспомощно повторял:

— Я люблю тебя!

— Ну, что ж, мой милый, не суждено было сбыться моей мечте. О нашей семье, о наших детях, о нашем счастье. Прощай.

Она притянула к себе его голову и поцеловала, уже отчуждённо, едва коснувшись губами. Повернулась и пошла.

— Постой! — он кинулся вслед. — Остановись!

Она прибавила шаг. Он не отставал от неё. Она побежала. И он бежал следом, не умея догнать. Так они бежали по аллее, среди старых лип, которые видели на своём веку множество свиданий и расставаний, и теперь осыпали их ворохами монет.

Добежали до конца аллеи, где стояла её машина. Она оттолкнула его, села и укатила. Он смотрел вдаль, где она исчезла. Там была синева далёких дубрав, тени облаков и что-то неразлично мерцало.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Головинский пребывал в одном из своих кабинетов, на этот раз в том, что находился в Спасской башне. Внизу размещался роскошный ресторан русской кухни, подавались тройная уха, печёное медвежье мясо, тетерева с брусникой, добытые в окрестных борах. Играли на балалайках бравые музыканты в расшитых рубахах.

А здесь, на высоте курантов, находился кабинет со сводами, расписанный фресками, подобно Грановитой палате. Головинский сидел в кресле, напминавшем трон, на стенах среди золотых нимбов шли волхвы, совершались чудеса, изображались сюжеты назидательных ветхозаветных притч. Головинский сам казался персонажем священных текстов, облачённый в халат и пёструю восточную шапочку, копию той, что красовалась на голове волхва Мельхиора. Время от времени за стеной начинало бархатно рокотать, раздавался приглушённый звон. Это куранты шевелили свои колёса и били в потаённый колокол.

Теперь Головинский вёл беседу со своим пресс-секретарём Луньковым, который сидел в удобном креслице, поменьше и пониже того, в котором восседал Головинский. Так, должно быть, в царских покоях сидели государь и его ближний боярин.

— Итак? Я вас слушаю, Пётр Васильевич.

— Докладываю, Лев Яковлевич. Послание “Логотипа” было прочитано Плотниковым и произвело разрушительное действие. Едва ли не сердечный приступ. Он беспомощно утверждал, что снимок — это фотешоп, подделка. Что дачу он передаёт безвозмездно убогим детям. И что Паола Велеш жестоко поплатится за свою клевету. Она может исчезнуть.

— Вот как? Это опрометчивое заявление. Губернаторы должны подыскивать выражения.

— От него ушли жена и сын. И он не находит себе места. Его покинула любовница Валерия Зазнобина, и это, кажется, свело его с ума. Он пропустил заседание правительства. Встречался с представителем ФСБ и сообщил, что против него проводится спецоперация. Нанёс визит врачу-кардиологу.

— Срочно достаньте его медицинскую карту. Его и его жены. Его кардиограмма — это показатель того, как развивается наша операция “Песчинка”.

— Один лишь крохотный вброс, а эффект сокрушительный!

— Эффект песчинки, сокрушающей гору. Важно выбрать время и место удара. Учитесь, Пётр Васильевич. В спецслужбах такому вас не учили.

В стене мягко зарокотало, невидимые шестерни повернули рычаги, и слышались тягучие, как мёд, звоны. Куранты пробили десять раз.

— Встаём, Пётр Васильевич, пора управлять мировым процессом, — со смехом произнёс Головинский, поднимаясь с трона и сбрасывая с волосатых плеч халат.

Их машина пронеслась по солнечным просторам губернии и достигла увечного, разбитого шоссе с дорожным знаком “Копалкино” и жестяным мятым щитом с надписью “Красный луч”.

— Стоит ли нам сюда забираться? — спросил Луньков.

— Предчувствие подсказывает, что стоит, — ответил Головинский.

Они проехали по унылой улице с обитателями, напоминавшими сонно ползающих жуков. Миновали селенье и по просёлку скатились к реке. Река была тихая, чистая, чудесная, окружена лесами. И казалось странным, что люди, живущие у этой реки, не впитали её свежесть, красоту, благодать.

На берегу дымился костёр. Головинский и Луньков вышли из машины и увидели человека перед бревном, на котором во всю длину лежал чёрный скользкий сом. Кипел котелок, роняя в огонь шипящую пену. Лежал на земле топор. На доске белела порезанная картошка, головка лука, стояла бутылка водки. Человек, сидящий на четвереньках, обернулся. У него было смуглое, законченное лицо, нос с горбинкой, лихой чуб и острые, злые, с шальным блеском глаза.

— Здравствуйте, добрый человек. Никак ушицу варите? — произнёс Головинский с нарочитой народной интонацией, которая, по его мнению, должна была сблизить его и сидящего у костра рыбака. — Бог в помощь!

— Пошёл на хер, — ответил человек и вернулся к своим занятиям. Головинский не обиделся, улыбаясь, стоял, и его волнообразный нос чутко устремился к бревну, на котором лежала рыбина.

Сом был живой, только что из реки. Его тупое усатое рыло отливало солнечной слизью. Он зевал, открывая рот. Вяло шлепал жабрами, в которых вспыхивало красное нутро. Человек взял топор и обухом несколько раз ударил сома в лоб. От ударов голова хлопала, сом вздрагивал, и усы его завивались.

Человек достал острый ножик, ловко полоснул по рыбьему зеленоватому брюху. Оно раскрылось. Человек засунул в рыбе чрево жилистый кулак, сгреб хлопляющую сердцевину и дернул. Вытянул наружу ворох скользких кишок, опутавших лиловую печень, малиновое сердце и языки золотистой икры. Швырнул хлопляющий ком на траву, оглядывая свою окровавленную руку. Ещё раз залез в рыбе нутро и ногтями соскоблил остатки плёнок. Сом ударил хвостом, раскрыл зев, и один его ус свернулся в спираль.

Человек засунул руку в жаберную щель, перебирал пальцами, а потом с силой рванул. Выхватил красный хрустящий ворох, похожий на георгин. Швырнул в реку. То же самое проделал с другой жаберной щелью. Оба комка медленно плыли, и было видно, как вокруг них увивались мальки, хватали тягучие красные волокна.

Человек схватил тряпку, снял с огня котелок и стал поливать кипятком чёрные рыбы бока. Сом, лишённый внутренностей, без сердца и желудка, обливаемый кипятком, слабо раскрывал рот, и усы его сворачивались и развивались. Облив сома кипятком, человек отставил котелок и ножом стал счищать с боков слизь, отирая нож о бревно и оставляя на нём сероватую жижу.

Сом был жив, ошпаренный, исполосованный, открывал тупой рот, вяло поднимал хвост. Человек поддел сома за пустые жабры, снёс к реке. Обмывал, плескал воду в нутро. С чёрной, стеклянно блестящей рыбы стекала розовая вода, и её сносило течением.

Головинский неотрывно смотрел, как рыбак разделяет сома, как ловко движутся его жилистые, красные от крови руки, как умело и последовательно он бьёт топором, взрезает нутро, выламывает жабры. Видимо, зрелище доставляло Головинскому наслаждение. Он что-то обдумывал, прикидывал, глядя на рыбака.

Человек вернулся к костру, уложил сома на бревно и стал резать, кромсать на сочные ломти. Под чёрной кожей было нежное, бело-розовое мясо с круглой косточкой позвонка. Человек собирал ломти и кидал в котелок.

— Чего уставился? — Человек повернулся, наконец, к Головинскому, отирая о траву окровавленный нож.

— Смотрю, как ловко ты нож в рыбу втыкаешь.

— Могу и в тебя воткнуть.

— Зачем тебе в меня нож втыкать? Я тебе денег дам.

— За что это?

— А так, ни за что. На будущее.

— Будущее и после смерти бывает. Я у тебя деньги возьму и сбегу.

— Потратишь, опять придёшь. Пётр Васильевич, будьте добры, сходите в машину, принесите хорошему человеку денег.

Луныков изумился, покачал головой, но пошёл к машине и принёс портмоне Головинского.

— Возьми деньги, — Головинский извлёк пачку красных купюр, протянул человеку. Тот взял. Их руки на мгновение сошлись — грязная, в запёкшейся крови рука рыбака и холёная, с золотым перстнем рука Головинского.

— За кого мне свечку ставить? — насмешливо, пряча деньги, спросил человек.

— Я Головинский Лев Яковлевич.

— Значит, всему голова. А я Сёмка Лебедь. Что же могу сделать для вас такого полезного?

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Сёмка Лебедь, бражный, пропахший дымом, с ножом в кармане, с топором за поясом, вернулся в Копалкино и шёл, надменно поглядывая на прохожих, каждый из которых не был достоин того, чтобы с ним поздоровались. Он встретил Анюту по прозвищу “Сладкая”, промышлявшую проституцией на трассе, предлагая себя дальнобойщикам. Анюта была в красном коротком платье с открытой грудью, губы — в яркой помаде, ногти накрашены вызывающим красным лаком, туфли — на высоких сношенных каблуках.

— Анюта, здорово, у тебя такое платье, что любой тормознёт. Почему берёшь? В стране тяжело, санкции, цены на услуги растут.

— Иди к чёрту, Сёмка, — Анюта хотела его обойти, но он не пустил.

— погоди посылать-то. Может, я к тебе с добром.

— После твоего добра люди на костылях ходят.

— Я люблю уважение. Ко мне с уважением, и я с уважением. Ты во мне человека разгляди, душу мою пойми, и я ради тебя не только свинью заколою или дом спалю. Я для тебя человека зарежу, на которого ты укажешь. Я добро помню.

— Иди, пропись, Сёмка, а мне идти нужно.

— Знаю твою нужду. И ни словом не попрекну. А кто попрекнёт, тому рыло начищу. Твоя работа самая честная, потому что ради детей. Твой мужик убёг, оставил тебя с двумя, так пусть ему там башку проломают, чтобы знал. Я тебя уважаю, Анюта, и хочу помочь.

— Чем ты мне можешь, Сёмка, помочь?

— Деньгами. У меня денег много. А что Бог говорит? Надо делиться. Говори, какие у тебя расходы, — Сёмка полез в карман и достал красную кипу денег. Держал перед носом Анюты, и та жадно глядела на деньги. — Давай считать. Младшему твоему Андрюшке ботинки нужны? Пальтишко на осень нужно? Старшенькой Ксюше нынче в школу идти, значит, нужно платье, пальто красивое, шапку. Нужен портфель или какая у них там сумка теперь. Книжки нужны. Правильно я считаю?

— Правильно, Сёма, — ответила Анюта, не спуская глаз с красных, распушённых веером купюр.

— Теперь гостинцы. Они, небось, красную икру ни разу не ели, не знают про такую. Конфеты “Белочка”, “Мишка в сосновом лесу”, “Трюфель” тоже никогда не ели. Правильно говорю?

— Правильно, Сёма.

— Я тебе денег дам, ты им купишь. Мы друг другу помогать должны. Сегодня я тебе, завтра ты мне. Так?

— Так.

— Ну, и хорошо. Деньги счёт любят. Их заработать надо. Если на халюву, они впрок не пойдут. Иди, Анюта, зарабатывать, — он сунул пачку в карман и пошёл, пьяно улыбаясь.

Анюта зашла домой, поправив на ходу осевший забор. Приподняла верёвку, на которой сушилось бельё. В доме дети за столом рисовали, слонявили цветные карандаши.

— Что вы тут рисуете? — она бегло оглядела неприбранную комнату, горько, с нежностью погладила детей по головам. — Что это у тебя, Андриюшенька?

— Это машина. Её папа ведёт. Она в яму попала, её папа вытаскивает, — ответил сын, шевеля испачканными карандашом губами.

— А у тебя что, Ксюшенька? — она обняла дочь, чувствуя её хрупкие, тёплые плечи.

— У меня папа нам подарки везёт. Это велосипед, это стиральная машина, а это телевизор. Видишь, как много подарков, даже в машину не влезает.

— А папа скоро приедет? — спросил сын.

— Тебе же сказали, — строго ответила Ксюша. — Папа на север уехал. Там много снега. Снег растает, он и приедет.

— А Славка говорит, что у нас папы нету.

— Это у него нету. Его папа в тюрьме сидит. Он на людей нападает, дерётся. Его в тюрьму посадили. А наш папа на север поехал, людей спасает. Он наспасает людей и приедет. Правда, мама?

— Правда, — со вздохом скала Анюта. — Ну, вы пока здесь играйте. В дом никого не пускайте. Я скоро вернусь.

Она вышла, выкатила из сарая старый велосипед и покатила по селу, в красном облегающем платье, мотая голыми коленями, встряхивая светлыми, падающими на лицо волосами.

Она докатила до придорожного магазина, купила конфеты “Белочка”, “Мишка в сосновом бору”, “Алёнушка” и повернула к дому.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Головинский открывал в городе ещё один магазин, торгующий драгоценностями. Магазин назывался “Паола” и размещался в здании на центральном проспекте, неподалёку от администрации. Деревья, ведущие к магазину, были увиты цветными гирляндами, и посетители сначала шли сквозь аметистовый лес с нежно-лиловыми стволами, потом сквозь рубиновую аллею, пульсирующую кровью, потом сквозь голубую, мерцающую таинственной бирюзой рощу. Над входом в магазин по всему фасаду пылало бриллиантовое имя “Паола”. То разгоралось до солнечного ослепительного блеска, то угасало, излучая волшебное свечение.

Витрины, где размещались драгоценности, были занавешены чёрным шёлком. Торговый зал был полон гостей. Головинский в смокинге, радушный, вальяжный, принимал поздравления. Рядом Паола, в вечернем платье с голой спиной, очаровательно улыбалась гостям. Отходя, гости оглядывались, чтобы мельком взглянуть на её чуткую спину. Слуги в бархатных, шитых золотом камзолах, в белых чулках и напудренных париках разносили на подносах шампанское.

Саксофонист Борович, держа бокал, полный золотых пузырьков, беседовал с генералом ФСБ, который дружелюбно чокнулся с опальным музыкантом и голосом, полным всеведения, произнёс:

— Не расстраивайтесь, вам ничего не грозит. Сегодня вас бранят за ваш украинский концерт, а завтра будут посылать на Украину как вестника доброй воли. Власть переменчива, а искусство вечно. Я сам поклонник вашей музыки. Прекрасна ваша “Рапсодия в стиле рок”.

— Ну, теперь я спокоен, если у меня такие поклонники.

— Те небольшие услуги, которые вы нам оказываете, гарантируют вам полную безопасность. Могу я и впредь просить вас о небольших одолжениях?

— Разумеется. Я же не враг России!

Лидер губернских демократов Орхидеев беседовал с управляющим французской фирмы “Жако”, строящей фармацевтические предприятия.

— Не понимаю, господин Фортё, зачем вы вкладываете деньги в эту гиблущую страну? Ваши европейские коллеги обложили Россию санкциями, и надо давить, давить этот бесчеловечный режим! Пусть захлебнётся, удавится! Пусть народ выйдет на улицы и сметёт узурпаторов!

— Но ведь мы производим не авианосцы, а лекарства, в которых так нуждаются ваши люди. Если не будет лекарств, ваши старики и инвалиды просто умрут.

— Пусть умрут старики! Это они своей советской дурью поддерживают режим. Молодые люди, свободные от советской заразы, выйдут на площади и сметут узурпаторов! — Орхидеев слишком страстно возвысил свой голос, так что на него обернулись, и он, улыбаясь, произнёс: — Не правда ли, господин Фортге, наша Паола — “Мисс бриллиант”?

Правозащитник Разумников пил шампанское с местным писателем Акуловым, бородастым, с косматой гривой, похожим на священника:

— Может быть, вам, православному человеку, не совсем приятны наши еврейские лица, но в сталинских расстрельных рвах рядом лежали и раввины, и батюшки. Разве вы не видите, что власть роет новые расстрельные рвы? И мы с вами рядом стоим на краю?

— Прошу вас, не приписывайте мне антисемитские взгляды. Напротив, я очень люблю евреев. Особенно если их правильно приготовить! — писатель сочно захохотал, а правозащитник Разумников отёрнул руку с бокалом.

Эколог Лаврентьев наклонился к уху сенатора, отведя в сторону бокал с шампанским:

— Ну, вы же, я знаю, терпеть не можете Плотникова! Ну, давайте устроим экологическую акцию! Ну, например, вывалим перед его домом грузовик с тухлой рыбой. Это, поверьте, послужит его ослаблению.

Сенатор кивал:

— Понимаю ваш образ. “Рыба с головы гниёт”. Но Плотникова поддерживают там, — сенатор показал пальцем на потолок. — Там ведь тоже своя большая рыба, и у той тоже голова, — они чокнулись и поспешили разойтись.

Антифашист Шамкин не отпускал от себя актрису местного театра, которая всем своим существом тянулась к Головинскому, к его блистающей улыбке, элегантным поклонам, прижатой к груди руке, на которой сверкал бриллиант:

— А я вам говорю, наш город будет прославлен тем, что станет родной русско-фашизма! Эдаким Мюнхеном. Посмотрите на Плотникова! Ему бы усы и косую чёлку — и вылитый Гитлер!

— Ему бы усы и трубку — и вылитый Сталин! Не преувеличивайте, мой друг, не преувеличивайте! — и актриса упорхнула.

Среди гостей то возникал, то пропадал пресс-секретарь Луньков, как и Головинский, в бесподобном смокинге, с бриллиантом на пальце, но поменьше. Он выныривал из каких-то глубин, подобно дельфину. Говорил гостям два-три комплимента, озирался счастливыми, навывкате, глазами и снова нырял в лазурь.

Головинский взмахнул рукой, приложив палец к устам, приглашая гостей замолчать. Все умолкли, повернулись к нему. Статный, величественный, с обольстительным выражением властного лица, он обратился к гостям:

— Вы можете спросить меня, господа, зачем в этой небогатой стране, в этой аскетической провинции я открываю ещё один ювелирный магазин? Кто станет покупать бриллианты, когда нет денег, чтобы купить лекарства или заплатить врачу? Я вам отвечу. Когда бушует кризис, когда сторают состояния, когда в сердце вливается тьма, люди покупают бриллианты. Богатый спешит кушить бриллиантовое кольцо, чтобы вложить в него тающий капитал. Бедняк последние сбережения тратит, чтобы купить крохотный камушек, напоминающий утреннюю росу раннего детства. Потому что бриллиант — это солнце, и это надежда, и это вечная красота. Когда вскрыли одну из пирамид в царстве инков, то в глазницах черепов сверкали бриллианты. Бриллиант соединяет мир живых с миром мёртвых, это камень бессмертия.

Все заворуженно слушали. По лицу Головинского бежала едва различимая волна, струилась от переносицы к кончику носа, превращаясь в пульсирующий пузырь света. Этот пузырёк действовал гипнотически. Люди верили бриллиантовому магнату, обожали, были готовы следовать его наущениям, повиноваться его повелениям.

Паола чувствовала, как ослабло её тело, иссякла воля. Став любовницей Головинского, она была во власти этого жестокого, лукавого и необычайно привлекательного человека.

— Я назвал этот бриллиантовый дом “Паола”. — Головинский повернулся к Паоле, которая испуганно качнулась. — Паола — бриллиант. Вы видите, я не молод, весьма искущён, разочарован. Я видел на своём веку множество красавиц, светских львиц, голливудских звёзд. Мне казалось, моё сердце остыло, душа потускнела. Но вот явилась Паола, и надо мной взошло бриллиантовое солнце. Я стал видеть будущее, осветилось моё прошлое. Я увидел множество моих прошлых грехов и хочу их искупить. Теперь для меня трава зелена, небо голубей. Добро стало отличимым от зла. Я сделал мой выбор, и хочу, чтобы вы это знали.

Головинский хлопнул в ладони. Служитель в напудренном парике вынес маленький серебряный поднос, на котором темнела сафьяновая коробочка. Головинский взял её, осторожно раскрыл. На чёрном бархате, переливаясь солнечными радугами, лежала бриллиантовая роза. Он стиснул пальцами её хрупкий черенок и поднёс Паоле.

— Это мой подарок тебе, дорогая. И никто не скажет, какая роза краше.

Все хлопали. Головинский бережно прикрепил розу на груди у Паолы. А та не смела шевельнуться, обморочно смотрела на пугающее и пленительное лицо Головинского, на ликующих гостей, на радужные переливы бриллиантовой розы.

Головинский всплеснул руками, подобно факиру. Занавес, скрывавший таинственное пространство, упал. Все ахнули. Возникли ослепляющие драгоценностями витрины, застеклённые, устланные бархатом прилавки, в которых сияли золотые браслеты, ожерелья, кольца. Аметисты брызгали нежными фиолетовыми лучами. Изумруды переливались, как зелёная морская волна. Рубины пламенели, как пылающие угли. Искусные ювелиры заключили в платиновую оправу гроздь гранатов. Серебро обрамляло голубую бирюзу. Бриллианты, с бесчисленными гранями, в перстнях, в серьгах, в колье, на крышках золотых часов, на клавишах золотых телефонов вспыхивали, как волшебные звёзды, сливались в колдовские ручьи.

За прилавками стояли обнажённые девушки с очаровательными улыбками. Крохотные бриллианты украшали их нежные соски, мерцали, словно капли, в пупках, трепетали в проколотых губах и ноздрах.

В окнах полыхнул салют. Огромные бриллианты, агаты, сапфиры расцветали в небесах, как сияющие стоцветные солнца. И гремели, бархатно рокотали пушки.

Паола, растерянная, испуганная, не понимала театрального действия, в которое её погрузили. Была ли это насмешка над ней, или каприз пресыщенного фантазёра, или внезапный ошеломляющий поворот судьбы. Ей только что прилюдно сделали предложение, и она своим изумлённым счастливым лицом подтверждала, что это предложение принято. Здесь, среди бриллиантов, драгоценных салютов и рокота пушек состоялась её помолвка с могущественным миллиардером, таинственным и мрачным в глубинах души и ослепительным и прекрасным в своих неутомимых фантазиях. Она боялась его, была изуродована им, вовлечена в неясную, отвратительную ей интригу. И была обласкана им, окружена обожанием, осыпана щедротами, которые приняла. Ей подарили великолепную квартиру в центре города, прямо у озера, чрез которое был перекинут мост. И она, возвращаясь по мосту домой, шла среди золотых отражений, похожих на лампы, что зажигал перед ней ее обожатель.

Её усадили в серебристый “Пежо”, пахнувший сладкими лаками и душистыми кожами. Она, лигуя, носилась среди ампирных особняков, старинных торговых рядов, сверкающих, как хрустальные чаши, супермаркетов и развлекательных центров. И среди этих бесшумных полётов вдруг испытывала ужас, словно вот-вот машина разобьётся в страшном ударе. Она останавливалась, выключала двигатель, слыша, как испуганно стучит сердце.

Среди гостей, сторонясь, прячась за колонны, возникло странное существо в долгополой хламиде, в хлоплющих водорослях и влажных улитках.

Существо было одноглазое, с бородавками, пахло болотной тиной. Кикимора приблизилась к Паоле, тронула её ледяной рукой:

— Умоляю вас, бегите отсюда! Здесь вы погибнете!

— Кто вы? Почему так странно выглядите? — Паола чувствовала ледяное прикосновение.

— Я артистка областного театра. Играла Анну Каренину. В театре мы получаем гроши. Нас нанял Головинский и заставил играть — кого кикимору, кого одноглазое лихо, кого вурдалака. Умоляю, бегите отсюда!

К ним подходил Луньков, сияя восторженными глазами и бриллиантовым перстнем. Махал рукой, прогоняя кикимору, и та поспешно, вся в улитках и личинках жуков-плавунцов, исчезла.

— Поздравляю, прекрасная Паола. Теперь, я уверен, Лев Яковлевич обрёл наконец своё счастье. Такой человек, как он, эстет и художник, нашёл в вас свой идеал. Хочу признаться, что это я посоветовал ему назвать магазин вашим именем. Думаю, мы станем с вами друзьями, — Луньков поклонился. Кланаясь, с головы до ног жадно осмотрел Паолу, и ей показалось, что от этого ненасытного мужского взгляда её не спасло вечернее платье.

Все подошли к Паоле, поздравляли, желали с ней чокнуться.

— Вы прекрасны в этом аметистовом бальном платье, — художник, рисовавший портреты именитых персон губернии, получая за это немалые вознаграждения, приблизился к Паоле с бокалом шампанского. — Если бы вы согласились мне позировать! На моей выставке вы были бы истинным бриллиантом!

Паола кивнула, чокнулась с маэстро, жадно выпила шампанское, словно гасила уголь в груди.

— Дорогая Паола, смею обратиться к вам с просьбой. Ведь Лев Яковлевич не откажется помочь нашему альманаху, не правда ли? Провинциальные писатели нуждаются в том, чтобы их поддерживали. А мы, в свою очередь, готовы написать книгу о Льве Яковлевичу в серию “Жизнь замечательных людей”! — местный беллетрист умоляюще взглянул на Паолу, протягивая бокал. Она улыбнулась, чокнулась, торопливо выпила, проливая шампанское себе на грудь, где красовалась бриллиантовая роза.

Генерал ФСБ щёлкнул каблуками, по-офицерски приподнял локоть, поднося к губам бокал:

— А я на месте Льва Яковлевича назвал бы вашим именем не магазин, а звезду! Звезда Паола, пью за вашу красоту! — генерал опустошил бокал, глядя, как тает шампанское в бокале Паолы, и её глаза, не мигая, смотрят сквозь стекло.

— Когда вы и Лев Яковлевич переедете жить в Европу, не забывайте, что в России остаются ваши друзья, продолжающие борьбу с беспощадным режимом, — правозащитник Разумников поднял бокал и, не чокаясь, выпил. Паола выпила следом, и люстра вдруг ослепительно польхнула и стала снижаться кругами, а девушка за прилавком с бриллиантами в сосках раздвоилась и уже не могла слиться воедино.

— А я ведь сразу заметила, как Лев Яковлевич смотрел на тебя, — Валдайская, журналистка с радио “Свежий ключ”, обняла Паолу за талию. — Смотри, не растеряй своё счастье. Богатые мужчины капризны. Они могут купить любовь за деньги. Не использовать ли тебе приворотное зелье? — она поцеловала Паолу, и та, выпив шампанского, вдруг тихо засмеялась. Ей показалась смешной пластмассовая брошка, украшавшая впадную грудь Валдайской.

— Послушайте, Паола, как вы отнесётесь к тому, что я сыграю сейчас сочинённый в вашу честь Паола-бюз, и мы отправимся вместе на рок-фестиваль в Одессу? Думаю, Лев Яковлевич обеспечит нам первый приз? — Борович влил себе в рот шампанское, и Паоле показалось, что он улетает вдаль, как в перевёрнутом бинокле, а потом, увеличиваясь, возвращается обратно, продолжая держать у губ бокал.

— Я всех вас очень люблю, — захлёбываясь от подступивших рыданий, произнесла Паола. Гости, оставив свои разговоры, повернулись к ней. — И вы меня любите, я вижу, и дарите мне подарки. Моя прекрасная кварти-

ра с видом на озеро, и я люблю, как плавают лодки, а вечером, на мосту мне кажется, что я в Венеции. Какая мне награда, правда? Или моя машина “Пежо”, похожая на космическую ракету, которая несёт меня среди светил и созвездий. Или эта бриллиантовая роза, которой позавидовала бы любая царица. Ведь я заслужила её, не правда ли? Я такая талантливая, такая красивая, так оригинально пишу, посвящаю себя такой возвышенной цели!

Паола покачнулась, словно у неё подломился высокий каблук. Но её подхватил стоящий рядом эколог Лаврентьев, и она устояла.

— И какой же возвышенной цели я себя посвящаю? Убиваю порядочного, достойного человека, разрушая своими писаниями его судьбу, карьеру, быть может, саму жизнь. Из-за моих писаний от него ушла любимая жена, и это страшный удар для обоих. От него отвернулся любимый сын, и теперь между отцом и сыном лежит непреодолимая пропасть. Его покинула возлюбленная, очаровательная и милая, не выдержав злобной молвы. Он мечется, лишается сил, валяется из рук дела. Он ранен. Ранен моими писаниями, которые действуют, как отравленная пуля. Я убиваю его! Я убийца!

Луньков больно сжал ей локоть и зашептал в самое ухо:

— Ты что же, сука, себе позволяешь! Хочешь, чтобы тебя живём в могилу зарыли? — Луньков хватал её, мял, она чувствовала его руки у себя на груди, на животе, не в силах сопротивляться. Луньков отступил, церемонно поклонился:

— Прекрасная “Мисс Бриллиант”, вас ждут в тронном зале, где в вашу честь начинается бал.

Он подставил ей локоть. Она бессильно на нём повисла. И уже был слышен медовый голос саксофона. Это Борович играл пленительный “Паола-блюз”.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

“Губернатор Плутников, ох, простите, Блудников, ах, извините, Глупников, ну, что с моей памятью? — Плотников! Наш губернатор имеет столь скверный нрав, что от него сбежала жена, не вынеся домашнего тиранства. Его покинул сын, которому стыдно перед товарищами за самодура-отца, чьё своеволие дорого обходится губернии. С ним рассталась возлюбленная, которая жаловалась подругам на скупость губернатора, не сделавшего ей ни одного подарка. И эта болезненная, доходящая до извращения скупость послужила причиной пожара, который спалил роскошную губернаторскую дачу. Вначале, боясь ревизоров, пожелавших исследовать, на какие деньги построена дача, во что обошлись казне родосский мрамор, эбеновое дерево, золочёная лепнина и картины старых мастеров, купленных на аукционе Сотбис, губернатор подарил дачу детскому дому. Но потом решил её просто сжечь, чтобы она не досталась ни детям, ни ревизорам. Может показаться, что этот чудовищный акт самосожжения напоминает сожжение Москвы Кутузовым, чтобы город не достался французам. Но то был подвиг жертвенного народа, а это акт жестокого эгоизма и безграничной скупости. Ни себе, ни людям. Не превратит ли губернатор перед своим уходом и нашу губернию в выжженную землю? Хочу известить общественность, что в мой адрес поступали угрозы со стороны губернатора, которому не нравятся мои заметки о нём. Паола Велеш”.

Эту заметку перепечатаало множество губернских и столичных изданий. Блогер Клёвый сообщил, что в сгоревшей даче находились домашние кошки и собаки, от которых таким образом хотел избавиться губернатор. Сторожа, начинавшие тушить дом, слышали душераздирающее мяуканье и вой. Блогер Кант сообщил, что беременная возлюбленная Плотникова Валерия Зазнобина избавилась от плода и ушла в монастырь, постригшись под именем “Рафаила”.

Обозреватель телекомпании “Карусель” Ласковий поведал, что Плотникова во время его поездки в Бельгию видели в гей-клубе. И не это ли является истиной причиной того, почему от него ушла жена и сбежала любовница

ца? И не следует ли ожидать, что Плотников, наконец, разрешит гей-парад и даже его возглавит?

Журналист газеты “Обозреватель” обратился к правоохранительным органам с требованием выделить Паоле Велеш охрану, ибо в её адрес со стороны губернатора участились угрозы.

Журналистка Валдайская по радио “Свежий ключ” рассказала, как губернатор приставал к ней, делал сомнительные предложения, а когда ему было отказано, пригрозил увольнением.

Обозреватель Курдюков из интернет-издания “Все грани”, рассказал, что побывал на пепелище, и пожарные, тушившие огонь, в горячем пепле нашли целый арсенал автоматов, ручной пулемёт, несколько пистолетов. Остаётся догадываться, для каких целей губернатор столь грозно вооружился.

Подобных сообщений было множество, столичные острословы сравнивали Плотникова с Нероном, с Синей Бородой, с маркизом де Садом. Предупреждали, что перемещение Плотникова из провинции в столицу дорого обойдётся стране.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Всю ночь у Плотникова болело сердце.

Он испытывал тоскливое одиночество. Его в одночасье оставили самые близкие люди, и он тщетно старался их вернуть. Искал жену у её сестры, но та сухо отвечала, что Валентина Григорьевна отправилась в дальнее село к целителю, а когда вернётся, неизвестно. Кирилл не объявлялся, и Плотников разведал, что он поселился у своего школьного друга, и их видели пьяными в ночном клубе. Лера не отзывалась на телефонные звонки. Он узнал, что она уволилась из университета и уехала в неизвестном направлении.

Ещё недавно он был силён, уверен в себе, исполнен творческих планов, выдерживал давление тяжеловесных проблем, одолевал неурядицы, был достоин своей крепкой фамилии “Плотников”. Но злобные языки надругались над его фамилией, отсекли пуловину, соединяющую его с родовым подспорьем, с работающими плотниками и плотогонами.

Следовало вновь собраться в сгусток энергии и воли, чтобы продолжать вверенное ему дело.

Он проводил совещание районных руководителей, слушая отчёты о стройках, водоводах, дорогах. Слагал из этих отчётов картину губернии, в которой шло непрерывное строительство, неуклонное преобразование, осуществлялась его программа.

Говорил глава района Белавин, с голым черепом, с короткими крепкими пальцами, в которых вертел золочёную ручку. В районе возводился мощный комплекс по производству биодобавок, без которых не обходилась пищевая промышленность и которые за большие деньги покупались за рубежом. Огромные серебряные башни возвышались над лугами и рощами, и казалось, что это монастырь сияет лучистыми куполами.

— Всё на мази, Иван Митрофанович, пуск через месяц. А тут, как на грех, выясняется, что вода пошла с примесью железа. Не годится по химическому составу. Надо бурить новые скважины, а это, как вы понимаете, затраты.

— Затраты заложены в дефектное управление! Почему железо обнаружили только сейчас? Пришлите смету под бурение новых скважин!

Докладывал глава района Шурпилин, худощавый, интеллигентного вида, в белоснежной сорочке и шёлковом галстуке:

— Очень трудно приживаются роботы на животноводческих фермах, Иван Митрофанович. Две фермы перешли на робототехнику, а остальные фермеры упираются, выжидают. Может, их в Голландию отослать? Пусть посмотрят, как компьютеры с коровами совмещаются.

— Ты им не прикажешь роботы на фермах ставить. Частная собственность. А семинар провести можешь. Если хочешь, пригласи голландцев. Мы тебе оплатим семинар.

Узкоглазый, с широкими скулами и желтоватым монгольским лицом глава района Шибаев докладывал об импортозамещении. Оно вводилось на заводе, производящем корабельные винты, после того как Запад отказался поставлять России подобные изделия. Военный флот, ждущий с нетерпением новые корабли и лодки, роптал на промедление. Завод срочно строил новые цеха, требовал под строительство дополнительные земли.

— Дайте нам, Иван Митрофанович, вывести из сельхозоборота эти несчастные десять гектаров. Одно название — пашня. Двадцать лет никто не пашет. Лесом зарастает.

— Непростое дело, сам знаешь. Сельхозугодия под защитой закона. К тому же, я знаю, что эти земли в собственности у какого-то московского спекулянта. Уговори его продать, а я буду думать, как передать участок заводу. Но дело, повторяю, непростое.

Плотников гордился тем, что в губернии работает этот уникальный завод. Гребные винты разных размеров и форм напоминали бронзовые цветы с изящными лепестками. Завод обзавёлся партией импортных высокоточных станков, позволяющих обрабатывать лопасти с предельной точностью, что снижало шумы. И бесшумные лодки двигались в глубине, недоступные для гидрофона противника. Ему нравилось думать, что его губерния с дубравами, речушками, петляющими просёлками присутствует в Мировом океане.

Плотников обратился к главе района Латухе. Большие уши, высокая шея, мягкие пухлые губы придавали ему странное сходство с жирафом.

— Объясните, почему ваше поселение напоминает свалку металлолома, пищевых отходов и обитателей, утративших человеческий облик? Оттуда исходят яды, отравляющие всю губернию. От вас и от Копалкино. Где завод по производству мебели? Где генплан поселения? Где заявка на музыкальную школу?

— Я вам докладывал, Иван Митрофанович, генплан неудачен, не учитывает мнения жителей. Легче построить новый посёлок, чем реконструировать старый. Отсюда причина, почему не выбрано место для завода. И музыкальную школу надо строить с учётом генплана.

— Так почему, скажите на милость, затяжка с генпланом?

Выступали другие главы районов. Производственное совещание превращалось в урок управления, в класс повышения квалификации, в психологический тренинг.

Плотников всматривался в их лица, в выражение глаз, в манеру одеваться и повязывать галстук. Знал их достоинства и слабости, хитрости и способность самоотверженно жертвовать собой. Это была его губернская элита, его гвардия, которую он взращивал, наставлял, шлифовал до блеска их грани. Они управляли районами, где совершались преобразования, воплощалась мечта Плотникова.

— А теперь, уважаемые коллеги, как обычно, “час интеллектуальной подготовки”! — Плотников видел, как тревожно посмотрели на него главы районов, ожидая очередной причуды. Этот “час интеллектуальной подготовки” он ввёл, желая вырвать соратников из ежедневных будней, которые притупляли воображение, иссушали фантазию. Когда в губернию приехал видный управленец из корпорации “Боинг”, Плотников уговорил его выступить перед руководителями районов, чтобы те хоть бегло почувствовали стиль великого управления. Когда в область приехал знаменитый археолог из Эрмитажа, он рассказал главам районов о древних поселениях, городищах, курганах, расположенных на территории области, чтобы строительство заводов не разрушило археологические сокровища древности.

— А теперь, коллеги, я попрошу принести листы бумаги и фломастеры. И вы каждый нарисуете ту или иную картину. Пусть свой последний рисунок вы сделали в детском саду. Вы должны развивать в себе правое полушарие, отвечающее за эмоции и фантазии. Ибо у вас работает только левое, а это лишает вашу фантазию полёта.

— А что рисовать-то, Иван Митрофанович? Я не Айвазовский, — страдальчески произнёс Латуха.

— Нарисуйте то, что вас больше всего тревожит, — Плотников приказал секретарше принести бумагу и цветные фломастеры и оставил районных руководителей наедине со своими правыми полушариями.

В соседнем кабинете Плотников принимал архитектора. Тот познакомил его с проектом памятника в честь древней победы русских над Ордой. Выслушал его взволнованные мысли о Святой Руси, которая и сегодня никуда не исчезла, а является сутью Государства Российского.

— Ракеты защищают страну от ядерного нападения, а молитвы заслоняют Россию Покровом Богородицы. Мой памятник — не мемориал, а духовная крепость.

Плотникову были интересны мысли архитектора, и он обещал внимательно познакомиться с проектом.

Его навестил директор Национального парка, крепкий, загорелый, с упрямым лбом, напоминавшим ядерный жёлудь. Рассказал, что в парке от привезённых зубров родились два зубрёнка. Он приглашал Плотникова приехать и полюбоваться на новорождённых, а заодно принять участие в посадке дубков на месте лесной гари. Один из дубов так и назовут — “Дуб Плотников”.

— А кто-то из заместителей назвал меня “баобабом”. Приеду, посмотрю на зубрят!

Он вернулся в комнату для совещаний, где его поджидали главы районов со своими произведениями. Все произведения напоминали рисунки детей. Каждый наивно отражал свои насущные заботы. Эти неотступные заботы были перенесены из левого полушария в правое, приобретя при этом красочное воплощение.

Белавин нарисовал чёрную буровую установку, которая добралась буром до синего подземного озера, и эта синяя вода щедро омывает башни биокомплекса, похожие на пływущие в море корабли. Шурпилин — толстобокую, с непомерным выменем чёрно-белую корову. Она была опутана проводами с огромным монитором, на котором бежали разноцветные синусоиды. Они изображали режимы кормления, автоматической дойки, состав кормов, время прогулок. Это была роботизированная корова, которую неохотно заводили у себя фермеры.

Шибав нарисовал стоящую на стапели подводную лодку с надписью “Князь Владимир” и золотой пятилепестковый гребной винт, похожий на великолепную женскую брошь. Латуха — фантастический город с небоскрёбами, дворцами и стадионами, и по городу, ростом выше крыш, идёт человек, похожий на огурец с руками, и держит знамя.

— А это кто такой, Латуха? — Плотников подозрительно рассматривал рисунок.

— А это вы, Иван Митрофанович!

Некоторое время все молчали, а потом дружно, вместе с Плотниковым, захохотали.

Плотников отпустил районных руководителей и собирался идти обедать, когда в кабинет вошёл вице-губернатор Притченко. Топтался у порога, бес толково поднимал и опускал руки, что-то пытался сказать. Складка на его лбу, переносице и подбородке порозовела, стала похожа на рубец, соединивший две половины рассечённого лица.

— Что случилось, Владимир Спартакович? — спросил Плотников, в котором ещё звучал недавний хохот.

— Уж не знаю, как сказать, Иван Митрофанович. У меня для вас снова плохие новости. Я — как гонец с проклятой вестью.

— Говорите.

— Сгорел ваш дом, ваша чудесная дача. Ночью, при невыясненных обстоятельствах. Выехала следственная группа. Нашли канистру.

Плотников испуганно замер. Его сердце растолкало ватный кокон и поднялось к горлу, мешая дышать. Он чувствовал беспомощность, обречённость. Его жизнь по чьей-то роковой воле попала в жёлоб, в котором его настигали одно за другим несчастья. Невозможно было вырваться из этого жёлоба, ведущего к катастрофе.

Он представлял свою чудесную дачу, которую построил, мечтая скрываться в ней от изнурительных забот, бесконечных людских толп, приглашая к себе самого любимого, дорогого человека. Всё сгорело, превратилось в пепел. И кровать с пёстрым одеялом и подушками, хранившими аромат её духов. И стеклянная веранда, с которой они смотрели, как бурлят под ветром деревья, и надвигается сизая завеса дождя. И те бокалы, которые чудесно звенели, когда они их сдвигали, и её губы темнели от красного вина. И книги, которые он так и не успел прочитать. И картина Поленова в старомодной золочёной раме. И все его мечтанья, которым придавался, сидя в плетёном кресле под звёздами, глядя, как пересекает их тень ночной птицы. Теперь всего этого нет, а осталось жуткое пепелище, в котором сгорело его прошлое и будущее.

— Это не всё, Иван Митрофанович, — у Притченко на лице была мука, он тяготился тем, что уже сказал, и тем, что ещё предстояло ему сообщить. — Вот распечатка из интернета. Столько пакости! Сколько подлости!

Плотников читал, не испытывая боли от чтения, потому что боль, уже заполонившая всё его существо, не оставляла места для новой боли.

— Я наводил справки. Это дело рук Головинского. Его журналистский пул. Его деньги.

— Но почему? Разве я ему конкурент? Разве он хочет стать губернатором? Я помог ему обосноваться в губернии. Выделил участок под строительство Глобал-Сити. Защищал этот дурацкий проект с бутафорской архитектурой. Считал, что любые инвестиции нам полезны. Почему он начал на меня охоту?

— Не знаю, Иван Митрофанович. Скорее всего, Головинский выполняет чей-то московский заказ. Вас там бояться.

— Им не удастся меня сломать!

Через несколько минут он сделал заявление перед телекамерой. Сказал, что поджог его дачи — преступление, и преступник будет наказан. Травля в печати — технологии тех, кому ненавистны положительные перемены в губернии.

— Особенно хочу предупредить журналистку Паолу Велеш. Зло, которое она совершает, вернётся к ней бумерангом и её уничтожит.

Плотников сделал разящий жест, изображая полёт бумеранга, который вопьётся в Паолу Велеш.

(Окончание следует)